

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГКОУ ВО РЮИ МВД России)

В. Б. Рожковский, И. М. Вакула

**ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
(XI–XIX ВВ.)**

Хрестоматия

Ростов-на-Дону
2026

УДК 340.15(470)

ББК 67.3

Р 63

Рецензенты:

А. А. Исаев, начальник кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Уфимского юридического института МВД России,
кандидат философских наук, доцент;

Н. Г. Келеберда, профессор кафедры международного полицейского сотрудничества и борьбы с преступностью по каналам Интерпола Центра подготовки сотрудников ОВД для участия в миротворческих миссиях ВИПК МВД России, кандидат философских наук, доцент.

Рожковский, Виталий Борисович.

Р 63 История отечественной политической мысли (XI–XIX вв.) :
хрестоматия. В. Б. Рожковский, И. М. Вакула. — Ростов-на-Дону :
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2026.— 232 с.
ISBN 978-5-89288-616 1.

Хрестоматия «История отечественной политической мысли (XI–XIX вв.)» содержит (в сокращении) избранные творения известных политических мыслителей, созданные в период с XI до конца XIX века. В прилагаемых к основной части хрестоматии аннотациях содержится общая информация о жизни, учении и значении идей политических мыслителей и комментарии к содержанию избранных для публикации их произведений. Список литературы включает в себя краткий перечень современных изданий приведенных текстов-первоисточников и общих и специальных трудов по истории отечественной политической мысли.

Предназначена педагогическим работникам, слушателям и курсантам образовательных организаций МВД России.

Печатается по решению редакционно-издательского совета
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.

ISBN 978-5-89288-616 1

УДК 340.15(470)
ББК 67.3

© Рожковский В.Б., Вакула И.М., 2026
© ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Иларион, митрополит Киевский. Слово о законе и благодати	6
Поучение Владимира Мономаха	12
Послания старца Филофея	17
Послания Ивана Грозного Курбскому	19
Феофан Прокопович. Правда воли монаршей	25
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях	41
Уваров С.С. О некоторых началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения (доклад императору Николаю I, 19 ноября 1833 г.)	68
Киреевский И.В. Записка об отношении русского народа к царской власти ...	73
Герцен А.И. Русский народ и социализм	90
Чернышевский Н.Г. Апология сумасшедшего	104
Бакунин М.А. Государственность и анархия	120
Данилевский Н.Я. Россия и Европа	133
Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения	185
АННОТАЦИИ К ТЕКСТАМ	208
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	227
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	229

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы обусловлена тем, что история отечественной политической мысли занимает не только важное место в общей истории российской культуры и государственности, но и является частью процесса формирования национального самосознания, а ее изучение является основанием для понимания современных мировых политических процессов и тенденций развития российской государственно-политической мысли. Вместе с тем накопленный в современной науке хрестоматийный материал настолько обширен и многообразен, что образует в педагогической практике проблему его адекватного и эффективного усвоения. Решение данной проблемы становится возможным через выборочное использование ключевых содержательных фрагментов текстов-первоисточников отечественных политических мыслителей.

При выборе оригинальных текстов основное внимание обращалось на присутствие в них идейно-ценностных вопросов, на оригинальный вклад в понимание основ и ориентиров развития социально-политической жизни России. Значимыми представлялись также те произведения, созданные в XI–XIX веках, где можно обнаружить специфически авторское, и в то же время отражающее веяния эпохи понимание духовно-нравственных основ русской культуры и социальной жизни, описание смысла переломных исторических событий и роли тех или иных выдающихся личностей в отечественной истории, выявление значения в жизни личности и общества религиозной веры и деятельности Русской православной церкви, описание специфики организации государственной власти и важнейших политических реформ того или иного времени.

Значительное место в хрестоматии занимают помещенные фрагменты текстов, где изложены ключевые идеи и аргументы двух школ политической мысли XIX века – славянофилов и западников. Ведь их спор оказал огромное влияние не только на умонастроение образованной части общества их времени

(вспомним хотя бы известный полемический ответ А.С. Пушкина своему другу П.Я. Чаадаеву на высказанные им идеи; не говоря уже о возникших в литературно-философской среде дискуссиях, вовлекших в них видных историков, писателей и политических деятелей), но и вообще как на постановку и решение проблемы исторического предназначения и понимания основ самобытности России в отечественной политической мысли, так и на внешнюю и внутреннюю политику государства XIX–XX веков. Противостояние славянофилов и западников остается непреодоленной особенностью общественно-политической мысли вплоть до нашего времени.

В хрестоматии также помещены фрагменты текстов создателей или видных представителей различных противоборствующих идеологий, сформировавшихся в XIX веке, таких как консерватизм, анархизм и др., созданных в контексте наметившихся в России социально-политических изменений и ожиданий социальных революций и реализованных в разной мере в социально-политической практике в XIX и особенно в XX веке. По содержанию произведений можно проследить как основные идеи и аргументы их авторов, сыгравших существенную роль в отечественной и зарубежной политической мысли эпохи, так и полемику между представителями различных идеологических установок в отношении оценок важнейших политических событий, действий государственных лидеров и представителей общественно-политических сил. К последним отнесем произведения Н.Г. Чернышевского, М.А. Бакунина, Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и др.

Нужно иметь в виду, что многие вопросы, сделавшиеся предметом размышлений мыслителей и политических деятелей XI–XIX веков, не только явились основой определяющих тем и идей политической мысли последующего времени, но и стали актуальнее в связи с наметившейся тенденцией разработки в современной России ценностно-идеологических основ государственной политики, призванной решать проблему национальной идентичности.

Сформулированные политическими мыслителями разных эпох ключевые идеи свидетельствуют о развитии русского исторического самосознания. Именно поэтому изучение данных текстов может служить основанием для понимания истории России как самобытного государства-цивилизации.

При размещении избранных произведений в сокращенном виде составители хрестоматии придерживались принципов выбора наиболее ярких, оригинальных и дискуссионных суждений их авторов и сохранения смысловой целостности и взаимосвязи приведенных фрагментов текстов.

Хрестоматия должна способствовать проведению самостоятельного анализа основной проблематики отечественной политической мысли, представленной в оригинальных текстах XI–XIX веков.

Иларион, митрополит Киевский

Слово о законе и благодати

О Законе, через Моисея данном,
и о Благодати и Истине через Иисуса Христа явленной,
и как Закон отошел, (а) Благодать и Истина всю землю наполнили,
и вера на все народы распространилась,
и до нашего народа русского (дошла).
И похвала князю нашему Владимиру,
которым мы крещены были.
И молитва к Богу от всей земли нашей.

Благословен Господь Бог Израилев, Бог христианский, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, что не попустил до конца твари Своей идольским мраком одержимой быть и в бесовском служении погибнуть. Но оправдал прежде племя Авраамово скрижалями и Законом, после же через

Сына Своего все народы спас, Евангелием и Крещением вводя их в обновление пакибытия, в Жизнь Вечную.

<...> Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам известно, подобно дерзости и славолюбию.

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к чуждым, но к наследникам Царства Небесного. Но о Законе, через Моисея данном, и о Благодати и Истине, явленной через Христа, повесть сия; и (о том), чего достиг Закон, а чего – Благодать. Прежде Закон, потом Благодать; прежде тень, потом Истина. Образ же Закона и Благодати – Агарь и Сарра, раба Агарь и свободная Сарра. Раба прежде, потом свободная. Да разумеет читающий: Авраам ведь от юности своей Сарру имел женой – свободную, а не рабу. И Бог ведь прежде век изволил и замыслил Сына Своего в мир послать и тем явить Благодать.

<...> Когда же приблизился век сей к концу, посетил Господь род человеческий и сошел с Небес, войдя в утробу Девы. <...> И когда посетил Бог естество человеческое, явилось (дотоле) неизвестное и утаенное, и родилась Благодать – Истина, а не Закон, сын, а не раб. <...> По Вознесении же Господа Иисуса, когда ученики (Его) и иные, уверовавшие уже во Христа, пребывали в Иерусалиме и было смешение иудеев и христиан. Крещение благодатное терпело обиды от обрезания законнического; и не принимала в Иерусалиме христианская Церковь епископа из необрезанных, ибо обрезанные, будучи первыми, творили насилия над христианами – сыны рабыни над сынами свободной. И бывали между ними многие распри и споры. Свободная же Благодать, увидев чад своих христиан притесняемыми от иудеев, сынов

рабского Закона, возопила к Богу: «Удали иудейство и Закон (его), расточи по странам – какое же общение между тенью и Истиною, иудейством и христианством!».

<...> И уже не теснится в Законе человечество, но в Благодати свободно ходит. Ведь иудеи при свече Закона делали свое оправдание, христиане же при благодатном солнце свое спасение созидают.

Так, иудеи тенью и Законом оправдывались, но не спасались, христиане же Истиною и Благодатью не оправдываются, а спасаются. Ибо у иудеев – оправдание, у христиан же – спасение. И поскольку оправдание – в этом мире, а спасение – в Будущем Веке, иудеи земному радуются, христиане же – сущему на Небесах.

И к тому же, оправдание иудейское скупое было, из-за ревности, не распространялось на другие народы, но только в Иудее одной было. Христианское же спасение благо и щедро простирается во все края земные. <...> Закон раньше был, и вознесся в малом, и отошел; вера же христианская, явившись после, больше первого стала и распространилась среди многих народов.

<...> Ибо кончилось иудейство, и Закон отошел. Жертвы не приняты, ковчег и скрижали, и очистилище отнято. По всей же земле роса, по всей же земле вера распространилась, дождь благодатный оросил купель паки рождения, (чтобы) сынов своих в нетление облачить.

Как и говорил Спаситель Самарянке, что настанет время, и настало уже, когда не на горе сей, не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но явятся истинные поклонники, которые будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо Отец таких ищет, поклоняющихся Ему, то есть с Сыном и Святым Духом. Так и есть: по всей земле уже славится Святая Троица и поклонение принимает от всей твари.

<...> И подобало Благодати и Истине над новыми народами воссиять. Ибо не вливают, по словам Господним, вина учения нового, благодатного в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе: прорываются мехи, и вино вытекает.

Не сумевшие удержать тени Закона, столько раз поклонявшиеся идолам, как удержат учение истинной Благодати! Но новое учение – в новые мехи, новые народы: и сберегается то и другое. Так и есть. Ибо вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла. И законническое озеро высохло, евангельский же источник наполнился вод и всю землю покрыл, и до нас разлился. Ведь вот уже и мы со всеми христианами славим Святую Троицу, а Иудея молчит. Христос прославляется, а иудеи проклинаются, язычники приведены, а иудеи отринуты, как сказал (Господь через) пророка Малахию: «Нет Мне нужды в сынах Израилевых, и жертвы от рук их не приму, ибо от востока и запада Имя Мое славится в странах, и на всяком месте фимиам Имени Моему приносится, ибо Имя Мое велико между народами». И Давид: Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе; и: Господи, Господь наш, чудно Имя Твое по всей земле! И уже не идолослужителями зовемся, но христианами; не лишенными надежды, но уповающими на Жизнь Вечную.

<...> И когда мы были подобны зверям и скотам, не разумели, (где) десница, (где) шуйца, и земному прилежали, и нимало о небесном не заботились, послал Господь и нам заповеди, ведущие в Жизнь Вечную, по пророчеству Осии: «И будет в день оный, говорит Господь, завещаю им Завет с птицами небесными и зверьми земными, и скажу не Моему народу: «вы Мой народ», а он скажет Мне: «Ты Господь Бог наш!». И так, будучи чуждыми, мы людьми Божиими нарекались и, бывшие врагами, мы сынами Его прозывались. И не хулим по-иудейски, но по-христиански благословляем, и не собираем совет, чтобы распять (Его), но чтобы Распятому поклониться. Не распинаем Спасителя, но руки к Нему воздеваем. Не прободаем ребр, но от них пьем источник нетления. Не тридцать сребреников наживаем на Нем, но друг друга и весь живот наш Ему предаем. Не таим Воскресения, но во всех домах своих возглашаем: Христос воскрес из мертвых!

<...> Все страны, и города, и народы чтут и славят каждый своего учителя, научившего их православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, великое и дивное сотворившего, нашего учителя

и наставника, великого князя земли нашей Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава, которые во времена своего владычества мужеством и храбростью прослыли в странах многих и ныне победами и силою поминаются и прославляются. Ибо не в худой и неведомой земле владычество ваше, но в Русской, о которой знают и слышат во всех четырех концах земли.

Сей славный, рожденный от славных, благородный – от благородных, князь наш Владимир возрос, окреп от детской младости, паче же возмужал, крепостью и силой совершенствуясь, мужеством же и умом преуспевая, и единодержцем стал земли своей, покорив себе соседние народы, иных – миром, а непокорных – мечом. И вот на него, во дни свои живущего и землю свою пасущего правдою, мужеством и умом, сошло на него посещение Вышнего, призрело на него Всемиловитое Око Благого Бога. И воссиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету идольской лжи, взыскать же Бога Единого, создавшего всю тварь, видимую и невидимую. К тому же всегда он слышал о благоверной земле греческой, христоробивой и сильной верою: как (там) Бога Единого в Троице почитают и поклоняются (Ему), как у них являются силы, и чудеса, и знамения, как церкви людьми наполнены, как веси и города благоверны, все в молитвах предстоят, все Богу служат. И услышав это, возжелал сердцем, возгорелся духом, чтобы быть ему христианином и земле его также быть (христианской), что и произошло по изволению Божию о естестве человеческом. <...> После того, как это произошло, не оставил он подвига благоверия, не этим только явил сущую в нем к Богу любовь, но подвигнулся дальше, повелев по всей земле своей креститься во Имя Отца и Сына и Святаго Духа и ясно и велегласно во всех городах славить Святую Троицу, и всем стать христианами: малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простолюдинам, богатым и бедным. И не было ни одного, противящегося благочестивому его повелению. Да если кто и не любовью, то из страха (перед) повелевшим крестился – ибо было благоверие его с властью сопряжено. И в одно время вся земля наша восславила Христа с Отцом и со Святым Духом.

Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря благоверия явилась. Тогда тьма бесслужения сгнула, и слово евангельское землю нашу осияло. Капища разрушались, а церкви поставлялись, идолы сокрушались, а иконы святых являлись, бесы бежали – Крест города освящал.

Пастыри словесных овец Христовых, епископы, стали пред святым алтарем, принося Жертву Бескровную. Пресвитеры, и диаконы, и весь клир украсили и лепотой облекли святые церкви. Труба апостольская и евангельский гром все грады огласили. Фимиам, возносимый к Богу, освятил воздух. Монастыри на горах воздвигли; черноризцы явились; мужи и жены, и малые и великие – все люди заполнили святые церкви, восславили (Бога). <...>

Чудо дивное! Другие цари и властелины, видево, как все это совершается святыми мужами, не веровали, но, более того, на муки и страдания предавали их. Ты же, о блаженный, без всего этого притек ко Христу, только через благое размышление и остроумие уразумев, что Един есть Бог. Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что (Он) послал в мир, спасения (нашего) ради, возлюбленного Сына Своего. И об этом помыслив, вошел в святую купель. То, что другим уродством кажется, для тебя стало силою Божией. К тому же, кто расскажет о многих твоих ночных милостях и дневных щедротах, которые убогим творил (ты), сирым, болящим, должникам, вдовам и всем просящим милости. <...> Помогает мне сказавший слова: милость превозносится над судом и милостыня человека – как печать у Него. Вернее же Самого Господа глагол: Блаженны милостивые, ибо они помилованы. <...> Подобный Великому Константину, равный ему умом, равно христолюбивый, равно чтущий служителей Его! Он со святыми отцами Никейского Собора положил Закон людям (всем), ты же с новыми нашими отцами, епископами, собираясь часто, с большим смирением совещался, как среди народа этого, новопознавшего Господа, Закон уставить. Он царство эллинов и римлян Богу покорил, ты же – Русь. Теперь не только у них, но и у нас Христос Царем зовется. Он с матерью своей Еленой Крест от Иерусалима принес (и), по всему миру своему разослав, веру утвердил. Ты же с бабкой своей Ольгой принес

Крест из Нового Иерусалима, Константинова града и, по всей земле своей поставив, утвердил веру. Ибо ты подобен ему. <...>

Добрый и верный свидетель – сын твой Георгий, которого Господь создал преемником твоему владычеству: не нарушающим твоих уставов, но утверждающим; не умаляющим хранилищ твоего благоверия, но умножающим; не на словах, но (на деле) доводящим до конца, что тобою неокончено, как Соломон (дела) Давида. Он создал Дом Божий, великий, святой Премудрости (Его) на святость и освящение града твоего и украсил его всякой красотой. <...> И славный град твой Киев величием, как венцом, окружил, вручил людей твоих и град скорой на помощь христианам Всеславной Святой Богородице. <...>

За эти и иные благие дела приемля на небесах воздаяние, – (те) блага, что приготовил Бог [вам] любящим Его, – и видением сладостного лица Его насыщаясь, помолись за землю свою и людей, над которыми благоверно владычествовал, да сохранит их (Господь) в мире и благоверии, преданном тобою, и да славится в нем правоверие, и да проклиняется всякое еретичество; и да сохранит их Господь Бог от всякой рати и пленения, от глада, и всякой скорби и печали.

<...>

Поучение Владимира Мономаха

Я, смиренный, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный в крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов: и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл по милости своей и по отцовской молитве от всех бед! Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет любя, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться.

Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте неоскудную, – это ведь начало всякого добра. Если же кому не любя грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на саях сидя, безлепицу молвил.

<...> Ибо как Василий учил, собрав юношей: иметь душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать слово Господне: «Есть и пить без шума великого, при старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не свирепствовать словом, не хулить в беседе, не много смеяться, стыдиться старших, с непутевыми женщинами не беседовать и избегать их, глаза держа книзу, а душу ввысь, не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть надеется и вечных благ насладится». «О Владычица Богородица! Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, чтобы не величался я суетою мира сего» в ничтожной этой жизни.

Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по евангельскому слову, «очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый – не мсти, ненавидимый – люби, гонимый – терпи, хулимый – молчи, умертви грех». «Избавляйте обижаемого, давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу. Приходите да соединимся, говорит Господь. Если будут грехи ваши как обогранные, – как снег обелю их», и прочее. «Воссияет весна поста и цветок покаяния; очистим себя, братья, от всякой крови телесной и душевной. Взывая к Светодавцу, скажем: «Слава Тебе, Человеколюбец!» Поистине, дети мои, разумейте, что Человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает

к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостиною. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия небесного не лишиться.

Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

<...> Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слезы о грехах своих, говоря: «Как блудницу, разбойника и мытаря помиловал ты, так и нас, грешных, помилуй». И в церкви то делайте и ложась. Не пропускайте ни одной ночи, – если можете, поклонитесь до земли; если вам занеможется, то трижды. Не забывайте этого, не ленитесь, ибо тем ночным поклоном и молитвой человек побеждает дьявола, и что нагрешит за день, то этим человек избавляется. Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела и если других молитв не умеете сказать, то «Господи помилуй» взывайте беспрестанно втайне, ибо эта молитва всех лучше, – нежели думать безлепицу, ездя.

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что Ты нам дал, не наше, но Твое, поручил нам это на

несколько дней. И в земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинять вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, – то пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего.

<...> Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет: не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость Его, ибо меня, грешного и ничтожного, столько лет хранил от тех смертных опасностей и не ленивым меня, дурного, создал, на всякие дела человеческие годным. Прочитав эту грамотку, потщитесь делать всякие добрые дела, славя Бога со святыми Его. Смерти, дети, не бойтесь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет. Ибо, если я от войны, и от зверя, и от воды, и от падения с коня уберегся, то никто из вас не может повредить себя или быть убитым, пока не будет от Бога повелено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, ни братья не могут вас отнять от нея, но если

и хорошее дело – остерегаться самому, то Божие сбережение лучше человеческого.

<...> Ибо кто молвит: «Бога люблю, а брата своего не люблю», – ложь это. И еще: «Если не простите прегрешений брату, то и вам не простит Отец ваш Небесный». Пророк говорит: «Не соревнуйся лукавствующим, не завидуй творящим беззаконие». «Что лучше и прекраснее, чем жить братьям вместе». Но все наущение дьявола! Были ведь войны при умных дедах наших, при добрых и при блаженных отцах наших. Дьявол ведь ссорит нас, ибо не хочет добра роду человеческому. Это я тебе написал, потому что понудил меня сын мой, крещенный тобою, что сидит близко от тебя. Прислал он ко мне мужа своего и грамоту, со словами: «Договоримся и помиримся, а братцу моему Божий суд пришел. А мы не будем за него мстителями, но положим то на Бога, когда предстанут они пред Богом; а Русскую землю не погубим». И, увидел смирение сына моего, сжалился я и, Бога устранившись, сказал: «Он по молодости своей и неразумию так смиряется, на Бога возлагает; я же – человек, грешнее всех людей».

<...> Разве удивительно, что муж пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших. Но не следовало ему искать чужого и меня в позор и в печаль вводить. Подучили ведь его слуги, чтобы себе что-нибудь добыть, а для него добыли зла. И если начнешь каяться Богу и ко мне будешь добр сердцем, послав посла своего или епископа, то напиши грамоту с правдою, тогда и волость получишь добром, и наше сердце обратишь к себе, и лучше будем, чем прежде: ни враг я тебе, ни мститель. Не хотел ведь я видеть крови твоей у Стародуба; но не дай Бог видеть кровь ни от руки твоей, ни от повеления твоего, ни от кого-либо из братьев. Если же я лгу, то Бог мне судья и крест честной! Если же в том состоит грех мой, что на тебя пошел к Чернигову из-за язычников, я в том каюсь, о том я не раз братии своей говорил и еще им поведал, ибо я человек.

<...> Если же кто из вас не хочет добра и мира христианам, пусть тому от Бога мира не видать душе своей на том свете!

Не от нужды говорю я это, ни от беды какой-нибудь, посланной Богом, сам поймешь, но душа своя мне дороже всего света сего. На Страшном суде без обвинителей сам себя обличаю, и прочее.

<...>

Послания старца Филофея

Послание о неблагоприятных днях и часах

<...> Скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христоролюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел упоминает Рим в посланиях, а в толкованиях говорится: «Рим – весь мир». Ведь на христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». <...> Видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и только одного государя нашего царство благодатью Христовой стоит. Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к Богу, не надеяться на золото и не преходящее богатство, но уповать на все дающего Бога.

Послание великому князю Василию

Тот, кто от вышней и от всемогущей, все в себе содержащей, десницы Божией, которой цари царствуют и которой великие славятся и могучие

возвещают праведность твою, пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя великого князя, православного христианского царя и владыки всех, держащему бразды святых Божиих престолов, святой вселенской соборной апостольской церкви пречистой Богородицы, честного и славного ее Успения, кто вместо римского и константинопольского владык воссиял, – ибо старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима, Константинова града, церковные двери внуки агарян секирами и топорами рассекли, а эта теперь же третьего, нового Рима, державного твоего царства святая соборная апостольская церковь во всех концах вселенной в православной христианской вере по всей поднебесной больше солнца светится, – так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в твоём царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь.

И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божиим, убойся Бога, давшего тебе это, не надейся на золото, и богатство, и славу: все это здесь собирается и здесь, на земле, остается. <...> Ибо вся твоя к Богу чистая вера и любовь – к Божиим святым церквам. <...> Утешь плачущих и рыдающих день и ночь, избавь обиженных от рук обижающих. <...> «Блажен призревший нищего и убогого, в день страшный спасет его Господь». Господь сохранит его, и оживит его, и ублажит его на земле, и не предаст в руки врагов, Господь тебе в помощь.

И если хорошо урядишь свое царство – будешь сыном света и жителем горнего Иерусалима, и как выше тебе писал, так и теперь говорю: храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И твое христианское царство другим не сменится.

<...>

Послания Ивана Грозного Курбскому

Первое послание Курбскому.

Царево государево послание во все его Российское царство об измене клятвопреступников – князя Андрея Курбского с товарищами

Бог наш Троица, всегда бывший и ныне сущий, Отец и Сын и Святой Дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы живем и движемся, которым цари царствуют и властители пишат правду; Богом нашим Иисусом Христом дана была едиnorodного Слова Божия победоносная непобедимая хоругвь - крест честной первому во благочестии царю Константину и всем православным царям и оберегателям православных. И после того как исполнилась воля провидения и божественные слуги Божьего Слова, как орлы, облетели всю вселенную, искра благочестия дошла и до Российского царства. По Божьему изволению начало самодержавия истинно православного Российского царства – от великого царя Владимира, просветившего всю Русскую землю святым крещением, и от великого царя Владимира Мономаха, который получил от греков достойнейшую честь, и от храброго великого государя Александра Невского, одержавшего победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего за Доном великую победу над безбожными агарянами [татарами], вплоть до мстителя за несправедливости, деда нашего, великого князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас, смиренных, скипетродержателей Российского царства. Мы же хвалим Бога за премногую милость к нам, что не допустил он деснице нашей обagrиться единоплеменной кровью, ибо мы не отняли ни у кого царства, но по Божию изволению и по благословению своих прародителей и родителей как родились на царстве, так и были воспитаны и выросли, и Божиим повелением воцарились, и взяли все родительским благословением, а не похитили чужое. Да будет известно повеление этой истинно православной

христианской самодержавной власти, владеющей многими землями, и да примет наш христианский смиренный ответ бывший истинно православный христианин и наш боярин, советник и воевода, ныне же отступник честного и животворящего креста Господня и губитель христиан и служитель врагов христианства, отступивших от поклонения божественным иконам и пренебрегших всеми божественными священными повелениями, и разоривших святые храмы, осквернивших и низвергнувших священные сосуды и образа, как Исавр, Навозоименный [Копроним] и Армянин, вступивший с ними в союз, князь Андрей Михайлович Курбсюга, изменнически пожелавший быть Ярославским князем.

Зачем ты, о князь, отверг свою единородную душу, если ты мнишь себя благочестивым? Чем ты заменишь ее в день Страшного Суда? Даже если ты приобретешь весь мир, смерть все равно похитит тебя, – зачем же ты ложному совету своих преданных бесу друзей и прислужников за тело предал душу, если даже ты и побоялся смерти? И всюду, как бесы во всем мире, так и ваши друзья и слуги отрекшись от нас, нарушив крестное целование [присягу], подражая бесам разнообразными способами, всюду раскинули сети и по обычаю бесов следят за нами, наблюдая куда мы идем, что говорим и, воображая, что они бесплотны [невидимы], они составляют против нас оскорбления и укоризны, приносят их к вам и позорят нас на весь мир. Вы же за это злодеяние даете им многие награды нашей же землей и казной, ложно называя их слугами, и, наполнившись этими бесовскими слухами, словно змеиным ядом, вы, разъярившись на меня и душу свою погубив, принимаетесь разрушать Церковь. Не думай, что это справедливо – разъярившись на человека, восстать на Бога: одно дело – человек, даже носящий на себе царскую порфиру, а другое дело – Бог. Думаешь, окаянный, что убережешься? Никак! Если ты пойдешь вместе с ними воевать, придется тебе и церкви разорять, и иконы попираť, и христиан убивать; где руками не дерзнешь, там это сотворится из-за смертоносного яда твоей мысли. <...> И разве же твой злодейский поступок не похож на неистовство Ирода, совершившего убийство

младенцев? Это ли благочестие – совершать такие злодеяния? Если же ты скажешь, что мы тоже воюем с христианами – германцами и литовцами, то это – не то же самое. Даже если бы в этих странах были, христиане – то ведь мы воюем по обычаям своих прародителей, как и прежде многократно случалось; но сейчас, как нам известно, в этих странах нет христиан, кроме мелких служителей Церкви и тайных рабов Господних. Кроме того, и война с Литвой совершилась из-за вашей же измены, недоброхотства и безрассудного нерадения. <...>

Могут и там понять твое злодеяние те, кто поумнее: ты бежал не от смерти, а желая мимотекущей славы и богатства. Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, зачем ты убоялся мученической смерти, которая не есть смерть, но приобретение? В конце концов все равно умрешь. Если же ты убоялся смертного приговора из-за лжи и клеветы твоих друзей, слуг сатаны, то это показывает только ваши всегдашние изменнические умыслы! Зачем ты презрел апостола Павла, говорящего: «Всякая душа да повинуется властям; нет власти не от Бога; тот, кто противится власти – противится Божьему повелению»? Смотри и разумей: кто противится власти – противится Богу; а кто противится Богу, тот называется отступником, а это наихудший грех. А ведь это сказано о всякой власти, даже о власти, приобретенной кровью и войной. Вспомни же сказанное выше, что мы ни у кого не похитили престола, – кто противится такой власти, тем более противятся Богу! <...> Вот воля Господня – пострадать, делая добро! Если же ты праведен и благочестив, почему не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и приобрести мученический венец?

<...> И я – человек; нет ведь человека без греха, один Бог безгрешен; это ты только считаешь себя человеком, равным ангелу. А о безбожных народах что и говорить! Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. А русские самодержцы изначально сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи! А ты этого в своей злобе не смог понять. <...> А это, по-твоему, нечестие, когда мы сами обладаем властью, данной нам от Бога, и не хотим быть под властью попа и под вашим злодейским повелением. Когда же Божьей милостью, заступничеством

Пречистой Богородицы, молитвами всех святых и родительским благословением я не дал вам, злодеям, погубить себя – это значит, по-твоему, что я выступил против православия?

<...> А не в этом ли заключается мое отступничество, что я не дал вам погубить себя? А ты зачем погубил свою душу и разум, нарушив крестное целование, – не из-за страха ли смерти? Советуешь нам то, чего сам не делаешь! По-наватски и по-фарисейски рассуждаешь: по-наватски потому, что требуешь от человека большего, чем позволяет человеческая природа, по-фарисейски же потому, что, сам не делая, требуешь этого от других. Но хуже всего ваши укоры и оскорбления, которые вы начали наносить мне уже давно и продолжаете до сих пор, ярясь как дикий зверь и учиняя измену, – в этом ли заключается ваша усердная и верная служба, что вы меня оскорбляли и укоряли? Дрожите, как одержимые, а сами, предвосхищая Божий суд и заменяя его своим судом, устроенным вашими начальниками, попом и Алексеем, осуждаете меня, как собаки.

<...> Как же ты не смог понять, что властитель не должен ни зверствовать, ни бессловесно смиряться? Апостол сказал: «к одним будьте милостивы, с рассмотрением, других же страхом спасайте, исторгая из огня». Видишь ли, что апостол повелевает спасать страхом? Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний. Неужели же ты, по своему безумному разуму, полагаешь, что царь всегда должен действовать одинаково, независимо от времени и обстоятельств? Неужели не следует казнить разбойников и воров? А ведь лукавые замыслы этих преступников еще опаснее! Тогда все царства распадутся от беспорядка и междоусобных браней. Что же должен делать правитель, как не разбирать споры своих подданных?

<...> Разве же это противно разуму – сообразоваться с обстоятельствами и временем? Вспомни величайшего из царей, Константина: как он, ради царства, убил собственного сына! А князь Федор Ростиславич, ваш предок, сколько крови пролил в Смоленске во время Пасхи! А ведь они причислены

к святым. А как же Давид, избранный Богом, когда его не приняли в Иерусалиме, приказал убивать иевусеев [иерусалимцев] – хромых и слепых, ненавидящих душу Давидову? Или по-твоему и те, не желавшие принять данного Богом царя, – тоже мученики? Как же ты не задумался над тем, что такой благочестивый царь обрушил свой могучий гнев на немощных рабов? Но разве нынешние изменники не совершили такого же злодейства? Они еще хуже. <...> И всегда царям следует быть осмотрительными: иногда кроткими, иногда жестокими, добрым являть милосердие и кротость, злым – жестокость и расправы. Если же этого нет, то он – не царь, ибо царь заставляет трепетать не добро творящих, а зло. Хочешь не бояться власти? Делай добро; а если делаешь зло – бойся, ибо царь не напрасно меч носит – для устрашения злодеев и ободрения добродетельных. <...>

Второе послание Курбскому.

**Такая грамота послана государем также из Владимирца [Вольмера]
к князю Андрею Курбскому с князем Александром Полубенским**

Божьей <...> милостью так пишем мы, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси <...> бывшему нашему боярину и воеводе князю Андрею Михайловичу Курбскому.

Смирненно напоминаю тебе, о князь: посмотри, как к нашим согрешениям и особенно к моему преступлению, превозшедшему преступления Манассии, хотя я и не отступил от веры, снисходительно Божье величество, в ожидании моего обращения. И не отчаиваюсь в милосердии Создателя, которое принесет мне спасение, ибо говорит Бог в святом Евангелии, что больше радуется об одном раскаявшемся грешнике, чем о девяти праведниках; то же говорится и в притче об овцах и драхмах. Ибо если и многочисленнее песка морского преступления мои, все же надеюсь на милость Божию – может Господь морем своей милости потопить беззакония мои. Вот и теперь Господь

оказал милость мне, грешнику, блуднику, и мучителю и животворящим своим крестом низложил Амалика и Максентия.

А наступающей крестоносной хоругви никакая военная хитрость не нужна, что знает не только Русь, но и немцы, и литовцы, и татары, и многие народы. Об этом ты можешь узнать от них, если спросишь, я же не хочу перечислять тебе эти победы, ибо не мои они, а Божьи. Тебе же напомним лишь кое-что из многого, ибо на укоризны, которые ты писал ко мне, я уже подробно ответил; теперь же напомним немного из многого. <...>

А с женою моею зачем вы меня разлучили? Не отняли бы вы у меня моею юной жены, не было бы и Кроновых жертв.

<...> Тогда вы начали против меня еще больше выступать и изменять, и я потому еще жестче начал выступать против вас. Я хотел вас подчинить своей воле, и как же вы из-за этого надругались над святыней Господней и осквернили ее! Рассердившись на человека, восстали на Бога. Сколько церквей, монастырей и святых мест поругали и осквернили! Сами за это Богу ответ дадите. Но опять-таки умолчу об этом; пишу здесь тебе о нынешних делах. Дивись велениям Божьей судьбы, о князь, ибо Бог дает власть кому хочет. Вы ведь с попом Сильвестром и с Алексеем Адашевым хвастались, как дьявол в книге Иова: «обошел землю и прошел вселенную и вся земля под ногами моими» (и сказал ему Господь: «а знаешь ли ты раба моего Иова?»). Так и вы мнили, что вся Русская земля под ногами вашими, но по Божьей воле мудрость ваша оказалась тщетной. Вот ради этого я и наострил свое перо, чтобы тебе написать. Вы ведь говорили: «нет людей на Руси, некому обороняться», – а нынче вас нет; кто же нынче занимает сильнейшие германские крепости? А между тем сила животворящего Креста, победившая Амалика и Максентия, занимает крепости. Не ждут бранного боя германские города, но склоняют головы свои перед силой животворящего Креста! А где случайно за грехи наши явления животворящего Креста не было, там бой был.

<...> Итак, мы написали тебе лишь некоторое из многого. Рассуди сам, как и что ты наделал, за что Божье провидение обратило на нас свою милость,

рассуди, что ты натворил. Взгляни внутрь себя и сам себе раскрой содеянное тобой! Видит Бог, что написали мы это тебе не из гордости или надменности, но чтобы напомнить тебе о необходимости исправления, чтобы ты о спасении души своей подумал.

Писан в нашей отчине Ливонской земле, в городе Вольмере, в 7086 году [1577 г.], на 43-й год нашего правления, на 31-й год нашего Российского царства, 25-й – Казанского, 24-й – Астраханского.

Феофан Прокопович.

Правда воли монаршей

Главный Устав Императорского Величества Петра Великого, Государя Нашего милостивейшего, сего 1722 года Февраля в 5 день славно опубликованный от всего всех чинов народа слышан есть, любовно принят, благодарно похвален, и присягою, или клятвенным обещанием, яко праведный, свидетельствован.

<...> Устав же сей предоберегает, дабы в Российском Государстве Монаршескую власть наследствовали самые лучшие и к столь высокому и трудному Правительству угоднейшие Лица, от благоразумных Самодержцев благовременно усмотренные и определенные.

Того ради Устав сей есть Всероссийской Монархии <...> предохранительное врачество, и к получению доброго и к отдалению злого состояния преполезнейшее. И по тому не только содержать оный, и вечно сохранять, но и незабвенно от всего сердца благодарствовать Законодателю нашему и Самодержцу должны суть сынове Российстии, яко истинному Отцу Отечества, который по крайнем Своем к отечеству благоутробии, за малое дело себе почитал толикими попечениями, и трудами собственными, не токмо целое сохранить, но и широко распространить.

<...> Разуметь же подобает, что когда глаголят законоучители, что власть высочайшая, Величеством нарицаемая, не подлежит никей же другой власти,

слово есть только о власти человеческой, Божией бо власти подлежит, и законом от Бога, яко на сердцах человеческих написанным, тако и в десятословии преданным повиноваться долженствует; законом же от человек, аще и добрым, яко к общей пользе служащим, не подлежит, но и закону Божию так подлежит, что за преступление того Божию токмо, а не человеческому суду повинна.

И тако всяк Самодержавный Государь человеческого закона хранить не должен, кольми же паче за преступление закона человеческого не судим есть: заповеди же Божий хранить должен, но за преступление их самому токмо Богу ответ даст, и от человек судим быть не может. Что все довольно покажем и от разума естественного, и от слова Божия, и древних учителей свидетельством.

Ведаем сие, во-первых, от естественного разума: понеже бо нарицается и есть верховная, высочайшая и крайняя власть, то како может законам человеческим подлежать; аще бы подлежала, не была бы верховная. А когда и сами Государи творят то, что гражданские уставы повелевают, творят по воле, а не по нужде: се же или образом своим поощряя подданных к доброхотному законохранению, или и утверждая законы яко добрые и полезные.

Ведаем паки тожде от Священного Писания... Вышеположенные бо доводы учат нас, во-первых, что хотя бы грех был Самодержцам определять в наследники меньшого сына, мимо старейшего, или и мимо сынов иного кого от чуждых себе усыновленного, по усмотрению оных непотребства, сего же добродетелей, то однако ж Монаршей в том воле должны суть повиноваться подданные не токмо без явного прекословия, но и без тайного роптания, еще же и без суждения в помыслах.

Но и тыяжде доводы ясно показывают, что всякому наследному Самодержцу (о яковом наипаче речь нам есть) определять короны своей наследника, которого сына ни похощет, или кого-либо похощет, весьма есть безгрешно. Человеческий бо закон о сем не может быть, понеже явственно

показалось, что Самодержцы законом человеческим не подлежат, закона же Божия на сие собственного не обретаем...

А есть ли о добре общем народа себе подданного толико пещись должен есть Самодержец, то како не должен есть прилежно смотреть, дабы по нем наследник был добрый, бодрый, искусный и таковой, который бы доброе отечества состояние не токмо сохранил в целости, но и паче бы утвердил, и укрепил, и если бы что не довершенное застал, тщался бы привести в совершенство. Есть ли же сам добре Государство управив, оставит оное негодному, неискусному, ленивому, и не утверждать, но разве рассыпать общее добро могущему, то что пользовало его попечение; не сам ли виновен будет всему нестроению, и гибели худым наследником сделанной, что пользует, что сам много добра отечеству промыслил, если сам же чрез наследника непотребного все то разрушит; во истину каковой похвалы достоин искусный кормчий, который добре правив корабль, отлучаясь же от корабля, посадит на кормиле, вместо себя, человека к тому отнюдь необученного: таковой достоин и Монарх, который управленное от себя Государство, худому и разорительному отдаст наследнику.

Аще же должен Монарх усматривать по себе наследника доброго, то како может смотреть на первородство между сынами своими; должен паче он и на сыновство не смотреть детей своих: но обучать оные всяким, державному правительству подобающим, искусствам долженствует; и если все сыны равносильны явятся, и не будет ни на едином от них никакой вины порока и зазора, отдаст скипетр в наследие первородному, или старейшему, по чину естественному; если же старейший сын или к царствованию неугодный, или злонравный, и родителям неблагодарный покажется, и отпадет вся надежда исправления его, тогда Государь не токмо может, но по совести своей и должен есть миновать сына старейшего, а меньшего в наследие произвести: дабы старейший он, или и нехотя не повредил трудов родительских, если не искусен есть к толикому делу, или и нарочно не рассыпал бы, есть ли зол есть, и родители не приязнен. А когда бы так несчастлив в сынах своих был

Монарх, что ни единого бы от них не видел к царствованию устроена и угодна, то должен пред Богом, яко о приставничестве своем слово ему воздать имущий, должен есть и со стороны усмотреть искусного и благонравного, и того написать наследником. Сия бо должность происходит от вышеписанных должностей, самого Бога повелением наложенных Царем.

<...>

Всем известно, что не един по всем мире образ есть высочайшего правительства: но инде главные всего отечества дела управляются согласием всех жителей, яковое правительство было прежде у многих народов Еллинских, и долго пребывало у Римлян. А в наши времена есть такое правительство в Венеции, Голландии и в Польше: и сие нарицается Демократия, то есть Народодержавство. Инде же не всего народа, но и не единого лица волею, но несколько избранных мужей сословием правится отечество, яковый правления образ был в Риме при десяти правителях не долгое время; и сие правительство нарицается: Аристократия. Инде же вся держава в руках единого лица держится: и сия именуется Монархия, то есть Самодержавство. Но и сверх сих образов правления, бывают правительства отличные от всех сих именованных, которые с сих же троих или двоих, аки бы смешанный состав свой имеют.

Еще Монархия двойственного вида есть: в иной бо Монархии не наследный скипетр содержится, но по смерти Монарха единого, избирает народ Монарха по согласию своему, несмотря на детей Монарха умершего. Таковая аки бы была Монархия Римская от Кесаря Иулия до Константина Палеолога, и ныне Монархия Германо-римская аки бы таковая.

Иная же Монархия наследная есть, в которой по отце сын, или по брате брат, иногда же по отце и дочь царствует: и тако в одном доме содержится скипетр, из рук в руки до сынов и внуков переходит, и разве пресечется линия крови Самодержавной, в то время народа согласием Монарх новый избирается. Таковые Монархии многие прежде были, и ныне суть, между которыми есть сия, преславно ныне процветшая Монархия Всероссийская.

От сего же правительств разнообразия показуется ясно, что всякий правления образ, и сама наследная Монархия имеет начало от первого в сем или оном народе согласия, всегда и везде по воле своей, премудро действующую смотрению Божию. Сие же глаголем о честном и правильном начале Монархии, не вспоминая зде Монархии оных, которые начало приняли от некоего превозмогающего в народе человека, насильствием народ себе покорившего, яковое начало имела Монархия Ассирийская от Немврода, хотя и в таковых Монархиях, когда уже народ непрекословно, безмятежно, еще же и доброхотно повиноватися Самодержцу своему приобыл, разуметь подобает, что дом Монарший не к тому насильствием своим похищенное, но всенародною волею отданное себе скипетр держит, сам бо народ доброхотным своим повиновением являет на тое преклоненную волю свою.

Еще же рассудить подобает, каковая воля народная в начале Монархии избирательной разумеется, и какова в начале Монархии наследной; от таковых бо воли народной толков, прямых и истинных, много света получим, и о свободной или несвободной воле Монархов в определении наследников своих.

Не мощно же инако толковать народной воли, только от самого вида и образа Монархии; какова бо где Монархия есть, таковую и волю народную, в начале той Монархии бывшую, разуметь подобает.

Тако в начале Монархии избирательной, какова была воля народная, сими словесы изобразить можем: согласно вси хотим, глаголет народ к Монарху первому, да ты владеешь нами к общей пользе нашей, донележе жив пребываешь, и мы все совлекаемся воли нашей, и тебе повинемся не оставляюще нам себе самим никакой свободы к общим определениям, но токмо до смерти твоей; по твоей же смерти будет паки при нас воля наша, кому высочайшую над нами власть отдать, по усмотрении достоинства и по нашем согласии.

В Монархии же наследной, таковая была к первому Монарху воля народная, аще и не словом, но делом изъявленная: Согласно вси хотим, да ты к общей нашей пользе, владеешь над нами вечно, то есть, понеже смертен еси,

то да по тебе, ты же сам впредь да оставляешь нам наследного владетеля, мы же единожды воли нашей совлекшися, никогда же оной впредь, ниже по смерти твоей, употреблять не будем, но как тебе, так и наследникам твоим по тебе повиноваться клятвенным обещанием одолжаемся и наших по нас наследников тымже долженством обязуем. Таковой же толк воли народной в наследуемой Монархии, не токмо от вида самой Монархии утверждается (яковая бо где Монархия есть, такой себе и сперва похотел народ), но и по тому известен есть, что когда народ Монархом наследным клятву свою, для некоей важной вины, обновляет, не иных употребляет слов, только вышеположенных или им подобных и равносильных к изъявлению клятвенного своего обещания. Ведать же подобает, что народная воля, как в избирательной, так и в наследной Монархии и в прочих правительства образах, бывает не без собственного смотрения Божия, как о сем и выше помянулось, но Божиим мановением движима действует, понеже ясно учит Священное Писание, якоже выше сего довольно мы видели, что несть власть аще не от Бога. И того ради вся долженства как подданных к Государю своему, так и Государя к добру общему подданных своих, не от единой воли народной, но и от воли Божией происходят.

Посмотрим же, какие долженства подданных и какие Государей являются в наследной Монархии, и с вышеположенного толкования воли народной, разумеи же купно и Божией, и что может и что не может творить народ и Государь.

Долженства народа подданного сия суть:

1. Должен народ, без прекословия и роптания, вся от Самодержца повелеваемая творить, что и выше, под числом тринадцатым, от слова Божия показано, zde же и от толкования воли народной явно показуется: аще бо народ воли общей своей совлекся и отдал оную Монарху своему, то како не должен хранить его повеления, законы и уставы, без всякой отговорки.

2. И по тому не может народ судить дела Государя своего, инако бо имел бы еще при себе волю общего правления, которую весьма отложил и отдал

Государю своему. И того ради пребеззаконное дело было сильных неких изменников от Парламента Великобританского, над Королем своим Карлом Первым, 1649 года сделанное, от всех проклинаемое, и от самых Англичан уставленным на то повсегодно слезным праздником весьма хулимое, нам же и воспоминания недостойное.

3. Кольми же паче не может народ повелевать что-либо Монарху своему: како бо повелевать может тому, которому отдал волю свою. Достойное памяти слово есть Валентиниана: которого, когда воинство избрало Императором, и стали вопить, домогаясь, дабы он в товарищи себе другого нарекл, отвечал им тако: Мене, рече, избрать Императором было в вашей воле, но когда уже избрали есте мене, сие, чего желаете, не в вашей, но в моей воле есть; вам, яко подданным, подобает тихо, мирно пребывать; мне же, яко Императору, смотреть надлежит, что есть на потребу. Есть ли же так свободен Монарх избранный (какова была Римская Монархия), то кольми паче наследный, которому народ волю свою и власть над собой во веки отдал.

4. Хотя народ из начала наследной Монархии и усматривает мужа доброго, который бы с великою отечества пользою царствовать мог; однако ж, когда уже избрал его Самодержцем своим, а он не таков, какова его надеялся, покажется, или быв на время добр, переменится в злого, не может уже народ отставить его, не может бо отданной ему воли своей отнять, коею бо волею мог бы сие творить; понеже воли своей и власти лишился. Но хотя бы и хотел упрямо отменить волю свою народ (что было бы великое непостоянство, и никогда бы так Монархия наследная быть не могла), но не может отменить воли Божией, которая и волю народную двигнула и купно с оною сама действовала в установлении такой Монархии и первого Монарха избрании, яко же выше довольно показано. Но должен терпеть народ кое либо Монарха своего нестроение и злонравие: якоже и Дух Святой повелевает, не токмо благим и кротким, но и строптивым повиноваться, разве бы при первого Монарха избрании были положенные некие договоры, самого Монарха соизволением, или и клятвою утвержденные, которых за неисполнение

установлено бы Монарха отставлять, но тая Монархия не прямая была бы Монархия, еще же и непрестанным бедствиям подлежащая (мощно бо злым человекам и добрая дела Монаршая толковать назло) и весьма не таковая, о яковой нам слово сие.

5. Следует убо и сие, что нам zde разыскуется, что должен народ иметь за прямого и законного себе Государя, кого наследником по себе наречет старейший Государь, не смотря, первородного ли сына или меньшого, или и не сына. Если бо волю свою от владения над собою отдал ему, ведать же должен, что на то и воля Божия была, то како может противиться, когда Государь не большого, но меньшого сына, или и не сына нарицает наследником; воли в том своей народ лишился, и всю волю возложил на Монарха: то, если бы хотел Монарху прекословить в наречении наследника, сам бы себе прекословил, и клятву свою разрушил бы народ <...>

Но что делать народу, когда Государь умрет, не оставив по себе, ни на словах, ни на письме, определенного наследника: ответствуем на сие: народ, понеже волю свою вечно отдал Государю своему, и на его волю весьма себя возложил, и содействовало в том Божие смотрение, то и по смерти Государя своего должен есть его волею управляться. И понеже в таковом случае не явно известна народу воля Государя умершего, яко ни словами сказана, ни письмом объявлена: того ради должен народ всякими правильными догадами испытывать, какова была, или быть могла воля Государева, и которого бы из сынов своих нарекл он наследником, если бы о том дело было. Волю же умершего Государя мощно испытывать и толковать двумя сими ведением:

Первое: какого нрава был Государь и к чему наипаче склонен: другое, равно ли, или не равно детей своих любил; неравенство же здесь разумеется знатное и великое, так, что одного сына, любя паче другого, другого аки бы не любил, и не благоволил о нем; если известно, что сего сына вельми любил, а о другом не благоволил, то и воля его известна, что любимому сыну отдал бы наследие, и весьма того подобает иметь за наследного Государя, только бы сие могло остаться без мятежа и смущения; и не смотреть, добрый ли есть, или злой

сын любимый, должен был смотреть сие родитель его Государь, а народ, несмотря на то, должен иметь за наследника, восписуя наследие его самой воле Божией, и яко крест и наказание от Бога приемля без роптания, если злонравен наследник явился, так как и выше речено о самом первом Монархе, который по восприятии скипетра зол покажется.

Если же неизвестно, равно ли или не равно сыны своя любил Государь, то смотреть на нравы его, например был Государь тщательный, трудолюбивый, военный, учения любящий, всякого добра отечеству своему с ревностью желающий: а от сынов его един есть подобонравен ему, а другой весьма отличен от его, ленивый, недоброрадетельный, к воинскому подвигу не угодный и не охотный, учения и прочее добро общее, или презирающий, или пещись о том немогущий, то посему знать мощно, что первого любил родитель, а о сем не благоволил и не хотел быть сему наследником по себе; если же известно, что Государь равно любил детей своих, то не известно, которого из них хотел нареши наследником, и в таковом случае должен народ, храня чин естественный, иметь за Государя себе сына Государева первородного, или старейшего, и не смотреть, каков ни есть он; тожде подобает хранить, если Государь, хотя и неравно любил дети свои, да незнатным неравенством.

Если же один сын остался по Государе, а наследия волею родительскою не отрешен, то, хотя бы он и злонравен и известно, что от родителя нелюбим был, должен народ иметь его за наследного Государя; понеже вероятнее есть, что умерший без завета Государь, хотя и не любил сына, однако же наследия его лишить не хотел, желая не испустить короны из дому своего...

А что zde рассуждается о сынах Монарших, тожде разуметь подобает, во оскудении сынов, и о дочерях Монарших, где женская власть не отставлена, как отставлена во Франции и о Монаршей братии, и о прочей ближайшей и единокровной фамилии, по беззаветной смерти Монаршей. Когда же оскудеет вся ближайшая фамилия, а последний в ней Государь никого в наследники не определил и без завета преставился, тогда воля, бывшим Монархом отданная, возвращается к народу. Но и zde ведать подобает, что если

последний Монарх, не определив именно наследника, определение оставил бы, из которой фамилии, или из которого чина людей избирать или не избирать Монарха нового, то народ и тое хранить должен чисто и свято...

Может Монарх Государь законно повелевать народу, не только все, что к знатной пользе отечества своего потребно, но и все, что ему не понравится; только бы народу не вредно и воли Божией не противно было. Сему же могуществу его основание есть вышепомянутое, что народ правительской воли своей совлекаясь пред ним и всю власть над собою отдал ему, и сюда надлежат всякие обряды гражданские и церковные, перемены обычаев, употребление платья, домов, строения, чины и церемонии в пированиях, свадьбах, погребениях, и прочее, и прочее, и прочее. <...>

...Монархия есть двойственного вида: иная Монархия избирательная, иная же наследная, о которой нам речь сия есть.

Есть же у политических Философов рассуждение, которая Монархия избирательная, или наследная, лучшая и полезнейшая: предлагаем zde вкратце рассудительные об обеих Монархиях доводы.

За Монархию избирательную против наследной сия неции предлагают:

1. Что в Монархии избирательной дети благородные поощряются всяким лучшим учениям навывать, друг друга превзойти желая, дабы мог иногда избиранием народа, добродетельми его удивленного, удостоиться престола Монаршего. А в наследной монархии, Монарший сын, яко беспечально и известно скипетра себе ожидающий не хочет честным и к высокому правительству должны искусствам прилежать; подданных же дети, отсечены суще от надежды толь высокого достоинства, не видят, для чего бы им не леностно в учении и добродетелях упражняться.

2. В избирательной, глаголют, Монархии избранный Государь благодарен народу, толь высоко себе вознесшему, и не презорно державствует над ним и с кротостью владеет.

3. В Монархии избирательной, по смерти Монарха, взыскуется на место его кто может лучший прочих усмотрен быть: чего в монархии наследной

делать не возможно; но нужда есть принимать за Государя сына Государева, несмотря, каков ни есть он, добрый или злонравный, мудрый или безумный. Сия доводы представляют, которые за Монархию избранием получаемую поборствуют.

Но как оные доводы, крепкие или не крепкие суть, не трудно показывают, наследуемой монархии поборницы, и множайшими и крепчайшими доводами наследное, паче избираемого Самодержавство утверждающие; а именно сими следующими:

1. Что дети благодарные паче в наследной, нежели в избирательной Монархии честным учениям прилежат. Монарх бо наследный, не опасаясь дому своему и крови своей унижения, и беспечален пребывая в том, что сына его чуждый, каков бы ни был, предварить к постижению короны не может, (разве бы самого Монарха определением) желая же самому себе доброй от подданных службы, и нуждой детей своего подданства приводит к обучению воинскому и гражданскому. Вопреки же, Монарх избранный издаече промысля сыну своему по себе наследить корону, опасно наблюдает, дабы никто же от чуждых детей не был лучший. И если видит сына своего не весьма к исправлению угодного, хотел бы дабы чуждые дети никакого учения не коснулись; о самых же благородных детях (если от родителей понуждены не будут, что мало в свете деется), дабы своею охотою, надеясь иногда корону получить, подвизались в учениях и добродетелях, так мало надежды, как мало прикладов того: если бо от младых ногтей чего навывать не начнут, немного случается, дабы к тому в большем возрасте преклонились, а в самых отроческих летах помышлять о детях, будто они надеждою державною высоты к учениям поощряются, едино мечтание есть. Вина тому сия есть, что в избирательной Монархии, каков бы кто ни был, ради множества короны желающих и ищущих, неизвестно ему и не близко получение короны.

И тако первый за избирательную Монархию довод, не токмо оной не служит, но и весьма служит наследной монархии.

2. Но и другой за избирательную Монархию довод положенный, не так оной, яко наследной пособствует; кто бо не ведает, что не многие и редкие в человецех толикого любомудрия и великодушия обретаются, которые с низкого места, и яко Псаломник глаголет, от гноища высоко возведенные, не забывают прежней низости своей; повседневные примеры усматривать можем, что таковые на высоту взлетевшие, не токмо первого своего состояния, но и самых себе не рассуждают, и того самого, что они человецы суть, не помнят; рождается же у них таковое забвение от непрестанного в них о высоте своей, яко необыклой, удивления, еще же и того ради не ино что, только славу свою в мысли держа, дабы, яко гладнии, донеле же господствуют, помыслами величия своего насытились. И понеже на время в дом свой приняли корону, того ради, поне память короны в роде своем утвердить желая, жестоко с подданными поступают, гордыню и свирепство вменяя властительское веление, и народ не забывать господствования их яростию убеждая. И не о самих здесь от крайней нищеты на верх власти возшедших глаголем, но и о прочих чинах не низких, всякий бо чин и сан подвластный, в сравнении верховной власти низкий есть, яко подданный, служащий и суду повинный. Наследный же Монарх, яко не возшедший на высоту, но на оной родившийся или и определением первого Монарха поставленный, не имеет вины такового о себе высокоумия, аще бо рождением наследствовал державу, то ему она не вельми дивна; аще же усыновлением восприятый от Монарха получил наследие, то смотря на образ его и ему подражая, сам себе не удивляется, еще же как рожденный, так и усыновленный, и того ради не свирепствует, что о вечном державствии своем беспечален есть. И сей честный характер на наследных Государях очима мощно видеть, и весьма дивно, когда некий и наследный не таков является.

3. О третьем Монархии избирательной доводе, что разуметь подобает, ниже покажем. Наследной же Монархии собственные суть доводы, яко и собственные ее суть доброты и пользы. На Монарха наследного, яко не имеют подданные зависти, так и восставать на его не имеют страсти, и ведая

неотъемлемое державство, еще же и отмщения боясь от наследника, не могут без крайнего отчаяния дерзать. Ведаем, что и таковое бывает дерзновение, но от крайне злобою ослепленных и отчаянных, и то не много и не так часто, яко в Монархии избирательной. Посмотри в Историю Царей Римских и во всех совокупно наследных Монархиях, не увидишь толь многих и толь жестоких, страшных и плачевных позорищ, коликие и коль многие показались в единой оной Монархии избирательной.

4. Во избирательных Монархиях, не токмо могут сильные помышлять, но и явственно говорят: ныне сей, а я утро господствую; из чего молчание к послушанию указов монарших, и послушание студеное, и в преслушании не великий страх, еще же и на повеления Государева, хотя бы и весьма нужные, только не без труда исполняемая роптание, и добрых намерений злые и развратные толки. А Монарх бедный, аки связанный, не так указывает, яко просит воли у народа, и не так скоро, и не так благопоспешно, как Государственные нужды требуют, получает; понеже сильный, помня его прежде с собою равенство, не вельми благоговейно, иные же и негодовательно, и аки бы стыдящиеся, повинуются ему. Нет такого зла в наследной Монархии; природный некий страх в народе, и говение к Государю своему, и он, не яко человек но аки бы изъятый от числа смертных почитаем есть. И в самых наследных Монархиях делом является, что Монархи бози суть, аще и прочим титулу сию дает писание; и заповедь она Апостольская, повиноваться властям повелевающая, не токмо за гнев, но и за совесть, аще и о всех властях глаголет, однако ж нигде такового своего исполнения, яко в наследных Монархиях не обретает. Наследием приемшему скипетр Монарху, не повинутись зазирает совесть простосердечному человеку, хотя и заповеди оной не знающему.

5. Наследный Государь, известный о неотъемлемой державе своей, так о целости и добром состоянии Государства прилежно печется, яко о домашнем добре своем, желая наследникам крепкую власть и славу оставить. Вопреки же, Государь избранный о собственном дому своего, а не об общем всего отечества

благополучии промышляет, и донележе может надеяться преклонить Сенаторов и сильнейших в народе лиц к избранию по нем на Государство сына своего, дотоль им всяким снисхождением угождает, и принужден бывает страстию своею, болезновать лицепрятием, терпеть сильных беззакония, попускать обиды деемые немощным и прочие настроения, аки бы не видеть, и не так повелителю, яко ласкательному рабу подобен есть. А когда не видит надежды сыновня наследия, то инамо мысли свои обратив, всячески тщится дом свой, от общих имений обогащая, сильный к удержанию скипетра сотворить. И того же ради свирепствует люто на подданных, сильнейшие от них истребить, или привести в бессилие, умышляя, дабы по смерти его не возмogli противостать сыну его, скипетр удержать хотящему, к чему и всяких употребляет хитростей. Образ сего знатный есть в единой от Европейских Монархий, аки бы избирательной, в которой некий Монарх, промышляя дому своему неотъемлемое державство, двое нечто к промыслу своему угодное сделал: первое, многие и великие провинции, общим всего Государства оружием завоеванные, приписал вечно дому своему, чем дом свой сотворил сильнейший от всего прочего Государства. Другое, сочинил вечный устав, что, если бы когда вышел из дому его скипетр, тогда домашних его областей, с прописными провинциями наследник его ж сын, внук, правнук, и прочие, не был бы подчинен Монарху, из иной фамилии избранному, но отделенное от Монархии Государство имел бы.

6. Бывают в Государстве таковые нужды, которые исполнить кратким временем невозможно. Что же в избирательной Монархии деется: Государь настоящий трудов подымать не хочет, понеже не ведает, dokonчит ли оные, кто по нем державу примет. И часто бывает, что новый избранный Монарх, завистию движим, зачатые от антецесора своего дела в несовершении оставляет, иногда же и совершенные разрушает. А в наследной Монархии инако: наследник бо дела антецессора [9] своего, яко своей славы здание, аще несовершенно видит, совершить тщится, аще же совершенно, то паче

утверждает; и аще бы что погрешено было от антецессора, то е аки бы свой собственный вред, врачует и исправляет.

7. Но что всего, как избирательной монархии вреднейшее, так в наследной здравейшее, сие есть, что в наследной, по преставлении Государя, отдав народ, аки естественный долг, погребальные слезы умершему отцу своему, в тишине и безмятежии пребывает, и с великою радостью объемлет Государя нового, беспрекословно престол наследствующего, так, аки бы и не умирал в Государстве Монарх. В избирательной же Монархии, изрещи трудно, какие мятежи и смущения творит смерть Государева: коликие нестроения бывают, донележе начнется избрание; какие факции в самом избрании. А когда два явятся равносильные конкуренты, то есть, ищущие короны соперники, и народа часть за сим, а часть за другим станет, и аки бы на два народа Государство разделится: коликое междоусобие, коликие внутренние брани, взаимные нападения, кровопролития, грабежи и разорения! во истину таковая Монархия смертью своего Государя и сама к смерти приближается. Какового бедства многие образы покажет нам и едина, сосед наш, Республика Польская.

8. Но всегда ли надеяться, что избран будет добродетельный, мужественный, правдолюбивый и весьма к царствованию угодный муж; не токмо надеяться сего не всегда мощно, но мало когда таковой надежды не отпадаем. Посмотрим на обе стороны, на избирающих, и на избираемых, и все увидим благонадежию противное. Избирающие мало когда на общую пользу смотрят; но иные того производят, которому волю свою за данное, или обещанное злато продали; иные того хотят, при котором сами бы могли всеми владеть, и аки бы царствовать, то есть, нарочно усматривают немощного, и скудоумного; иные паки, завистию на добрых, и Короны достойных жегоми, представляют негодных, но сильных, дабы лучших отрешить могли, и многие прочие страсти в избирании живут и действуют. Из стороны же избираемых честный и благоразумный муж и властолюбием не болезнующий, добре ведая, как суетрудное, непокойное, и малодействительное державство в таковом народе, не токмо оно не ищет, но и весьма опрятается от его, и разве

насилием народным понужден, с воздыханием на престол возыдет. А которые доброхотно таковой державы ищут, тии ищут (обычно) неправильным способом, но подлогами, куплею, лестию, и аще могут, силою, и не поучаются, как бы добре Государство управить, только бы себя возвеличить, и не рассуждают, каковую на высоте той получают славу, только бы великую. Кратко рещи, кто в таковой Монархии намерен к пользе общей, тот должен на все бедствия и печали посвятить себя, а кто сих уклониться хочет, тому нельзя мыслить о пользе общей. Так то благонадежное избирание есть. Наследная же Монархия, если бы иных угодий, которые имеют многие, не имела, то в едином сем блаженна была бы и благословенна, что таковым от избирания происходящим бедствиям не подлежит.

Сия же вся как избирательной Монархии вреду, так пользы наследной предлагаем того ради, что естли покажем некий недостаток и в наследной монархии, а той исправиться инако не может, токмо избираемыми от Государей наследниками: то не останется сомнение, что Государи наследники и вольные, и должные суть наследников по себе определять, понеже таковое определение Монархию изрядную, но един некий недостаток имущую, совершенно исправляет. Исповести бо подобает, что и наследная Монархия вреду некоему подлежит, а именно тому, о котором помянулось выше, в третьем доводе, от поборников Государства избирательного положенном, то есть, что не всегда и от доброго Государя сын ему подобный рождается, но иногда является аки весьма отличен от родителя, злонравный, нерадетельный, яростию побеждаемый, правды не ищущий, навекать искусства или не хотящий, или не могущий. Таковой когда по родителю на место его взыдет, бедно деется с Государством, а народ и такового наследника от Короны родительской отрешить отнюдь не может, яко выше ясно показано. И сей един есть вред в наследной Монархии, прочая во всем благополучна.

Смотри же всяк благоразумный и не пристрастный, не добре ли и от сего вреда предохраняется Монархия, когда Монарх несмотря на первородство между сынами своими, но кто от них лучший, или и на сыновство несмотря, но

и чуждее достоинство, паче домашнего непотребства предпочитая, определяет при животе своем такового по себе наследника, который общему добру не попустити пресекая смертью Антецессора своего, но начатая от него совершит, совершенная утвердит, намеренная произведет в дело, и весьма потщится всему миру показать, что не обманулся Антецессор, нарекл себе его наследником. И кто ж может усумневаться, что не только могут свободно, но и должны суть наследные Государя, которого лучшего усмотрят, определять в наследники себе. Един вред остался в наследной Монархии, что иногда страдать понуждена от худого наследника, а и той вред таковым наследных Монархов определением, отлагается: то кто не речет, что таковое определение не токмо не зазорно, но и преблагословенно есть, и разве крайне безумным, или врагом отечества своего, нежелательно <...>

Карамзин Н.М.

Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях

Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в связи представляется мыслям яснее.

От моря Каспийского до Балтийского, от Черного до Ледовитого, за тысячу лет пред сим жили народы кочевые, звероловные и земледельческие, среди обширных пустынь, известных грекам и римлянам более по сказкам баснословия, нежели по верным описаниям очевидцев. Провидению угодно было составить из сих разнородных племен обширнейшее государство в мире.

<...> В XI веке Государство Российское могло, как бодрый, пылкий юноша, обещать себе долголетие и славную деятельность. Монархи его в твердой руке своей держали судьбы миллионов, озаренные блеском побед, окруженные воинственною, благородною дружиною, казались народу полубогами, судили и рядили землю, мановением воздвигали рать и движением

перста указывали ей путь к Боспору Фракийскому, или к горам Карпатским. В счастливом отдохновении мира государь пировал с вельможами и народом, как отец среди семейства многочисленного. Пустыни украсились городами, города – избранными жителями; свирепость диких нравов смягчилась верою христианскою; на берегах Днепра и Волхова явились искусства византийские. Ярослав дал народу свиток законов гражданских, простых и мудрых, согласных с древними немецкими. Одним словом, Россия не только была обширным, но, в сравнении с другими, и самым образованным государством.

К несчастью, она в сей бодрой юности не предохранила себя от государственной общей язвы тогдашнего времени, которую народы германские сообщили Европе: говорю о системе удельной. Счастье и характер Владимира, счастье и характер Ярослава могли только отсрочить падение державы, основанной единовластием на завоеваниях. Россия разделилась.

Вместе с причиною ее могущества, столь необходимого для благоденствия, исчезло и могущество, и благоденствие народа. Открылось жалкое междоусобие малодушных князей, которые, забыв славу, пользу отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу. Греция, Венгрия, Польша отдохнули: зрелище нашего внутреннего бедствия служило им поручительством в их безопасности. Дотоле боялись россиян, – начали презирать их. Тщетно некоторые князья великодушные – Мономах, Василько – говорили именем отечества на торжественных съездах, тщетно другие – Боголюбский, Всеволод III – старались присвоить себе единовластие: покушения были слабы, недружны, и Россия в течение двух веков терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственную.

<...> И так, с ослаблением государственного могущества, ослабела и внутренняя связь подданства с властью.

В таких обстоятельствах удивительно ли, что варвары покорили наше отечество? Удивительнее, что оно еще столь долго могло умирать по частям и в сердце, сохраняя вид и действия жизни государственной, или независимость,

изъясняемую одною слабостью наших соседей. На степях Донских и Волжских кочевали орды азиатские, способные только к разбоям. <...> Когда воинственный народ, образованный победами хана монгольского, овладев Китаем, частию Сибири и Тибетом, устремился на Россию, она могла иметь только славу великодушной гибели. <...> Казалось, что Россия погибла на веки.

Сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV века, от презрения к его маловажности именуемый селом Кучковым, возвысил главу и спас отечество. Да будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась, созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иоанн Калита, заслужив имя Собирателя земли Русской, есть первоначальник ее славного воскресения, беспримерного в летописях мира. Надлежало, чтобы его преемники в течение века следовали одной системе с удивительным постоянством и твердостью, – системе наилучшей по всем обстоятельствам, и которая состояла в том, чтобы употребить самих ханов в орудие нашей свободы.

<...> Глубокомысленная политика князей московских не удовлетворялась собранием частей в целое: надлежало еще связать их твердо, и единовластие усилить самодержавием. Славяне российские, признав князей варяжских своими государями, хотя отказались от правления общенародного, но удерживали многие его обыкновения. Во всех древних городах наших бывало так называемое вече, или совет народный, при случаях важных; во всех городах избирались тысяцкие, или полководцы, не князем, а народом. Сии республиканские учреждения не мешали Олегу, Владимиру, Ярославу самодержавно повелевать Россиею: слава дел, великодушие и многочисленность дружин воинских, им преданных, обуздывали народную буйность; когда же государство разделилось на многие области независимые, тогда граждане, не уважая князей слабых, захотели пользоваться своим древним правом веча и верховного законодательства; иногда судили князей и торжественно изгоняли в Новгороде и других местах. Сей дух вольности господствовал в России до нашествия Батыева, и в самых ее бедствиях не мог

вдруг исчезнуть, но ослабел приметно. Таким образом, история наша представляет новое доказательство двух истин: 1) для твердого самодержавия необходимо государственное могущество; 2) рабство политическое не совместно с гражданской вольностью. Князья пресмыкались в Орде, но, возвращаясь оттуда с милостивым ярлыком ханским, повелевали смелее, нежели в дни нашей государственной независимости. Народ, смиренный игом варваров, думал только о спасении жизни и собственности, мало заботясь о своих правах гражданских. Сим расположением умов, сими обстоятельствами воспользовались князья московские, и, мало-помалу, истребив все остатки древней республиканской системы, основали истинное самодержавие. Умолк вечевой колокол во всех городах России. Дмитрий Донской отнял власть у народа избирать тысяцких, и, вопреки своему редкому человеколюбию, первый установил торжественную смертную казнь для государственных преступников, чтобы вселить ужас в дерзких мятежников. Наконец, что началось при Иоанне I, или Калите, то совершилось при Иоанне III: столица ханская на берегу Ахтубы, где столько лет потомки Рюриковы преклоняли колена, исчезла навеки, сокрушенная местью россиян. Новгород, Псков, Рязань, Тверь присоединились к Москве, вместе с некоторыми областями, прежде захваченными Литвою. Древние юго-западные княжения потомков Владимировых еще оставались в руках Польши, за то Россия, новая, возрожденная, во время Иоанна IV приобрела три царства: Казанское, Астраханское и неизмеримое Сибирское, дотоле неизвестное Европе.

Сие великое творение князей московских было произведено не личным их геройством, ибо, кроме Донского, никто из них не славился оным, но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием.

Во глубине Севера, возвысив главу свою между азиатскими и европейскими царствами, она представляла в своем гражданском образе черты сих обеих частей мира: смесь древних восточных нравов, принесенных

славянами в Европу и подновленных, так сказать, нашею долговременною связью с монголами, – византийских, заимствованных россиянами вместе с христианскою верою, и некоторых германских, сообщенных им варягами. Сии последние черты, свойственные народу мужественному, вольному, еще были заметны в обыкновении судебных поединков, в утехах рыцарских и в духе местничества, основанного на родовом славолубии. Заключение женского пола и строгое холопство оставались признаком древних азиатских обычаев. Двор царский уподоблялся византийскому. Иоанн III, зять одного из Палеологов, хотел как бы восстановить у нас Грецию соблюдением всех обрядов ее церковных и придворных: окружил себя Римскими Орлами и принимал иноземных послов в Золотой палате, которая напоминала Юстинианову. Такая смесь в нравах, произведенная случаями, обстоятельствами, казалась нам природною, и россияне любили оную, как свою народную собственность.

<...> Европа устремила глаза на Россию: государи, папы, республики вступили с нею в дружелюбные сношения, одни для выгод купечества, иные – в надежде обратить ее силы к обузданию ужасной Турецкой империи, Польши, Швеции. Даже из самой глубины Индостана, с берегов Гангеса в XVI веке приезжали послы в Москву, и мысль сделать Россию путем индийской торговли была тогда общею. Политическая система государей московских заслуживала удивление своею мудростью: имея целью одно благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетности монархов, нежели полезного для государства, и, восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных, или опасных, желая сохранять, а не приобретать.

Внутри самодержавие укоренилось. Никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать: всякая власть была изливанием монаршей. Жизнь, имение зависели от произвола царей, и знаменитейшее в России титуло уже было не княжеское, не боярское, но титуло слуги царева. Народ, избавленный князьями московскими от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о

своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; детальным действием, не спорил о правах. Одни бояре, столь некогда величавые в удельных господствах, роптали на строгость самодержавия; но бегство, или казнь их, свидетельствовали твердость оною. Наконец, царь сделался для всех россиян земным Богом.

<...> Отечество под сенью самодержавия успокоилось, извергнув чужеземных хищников из недр своих, возвеличилось приобретениями и вновь образовалось в гражданском порядке, творя, обновляя и делая только необходимое, согласное с понятиями народными и ближайшее к существующему. Дума Боярская осталась на древнем основании, т. е. советом царей во всех делах важных, политических, гражданских, казенных. Прежде монарх рядил государство через своих наместников, или воевод; недовольные ими прибегали к нему: он судил дело с боярами. Сия восточная простота уже не отвечала государственному возрасту России, и множество дел требовало более посредников между царем и народом.

<...> Вообще царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иностранцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских Уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении: ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым.

Явился Петр. В его детские лета самовольство вельмож, наглость стрельцов и властолюбие Софьи напоминали России несчастные времена смут боярских. Но великий муж созрел уже в юноше и мощною рукою схватил кормило

государства. Он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: достиг – и все переменилось!

Сею целью было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских... Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, академию, наконец поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование: употреблять людей по их способностям? Полководцы, министры, законодатели не родятся в такое, или такое царствование, но единственно избираются... Чтобы избрать, надобно угадать; угадывают же людей только великие люди – и слуги Петровы удивительным образом помогли ему на ратном поле, в Сенате, в Кабинете. Но мы, россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иностранцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного?.. Забудем ли князей московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную, и, – что не менее важно, – учредили твердое в ней правление единовластное?.. Петр нашел средства делать великое – князья московские приготавливали оное. И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?

Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев; он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству.

Искореня древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами сказал им: «Блюдайте нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого», – но не сказал: «противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни». В сем отношении государь, по справедливости, может действовать только примером, а не указом.

Жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется долговременность. Петр ограничил свое преобразование дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, – со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний.

В течение веков народ обвык чтить бояр, как мужей, ознаменованных величием, – поклонялся им с истинным уничижением, когда они со своими благородными дружинами, с азиатскою пышностью, при звуке бубнов являлись на стогнах, шествуя в храм Божий или на совет к государю. Петр уничтожил достоинство бояр: ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо приказов – коллегии,

вместо дьяков – секретари и проч. Та же бессмысленная для россиян перемена в воинском чиноначалии: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и проч. Честью и достоинством россиян сделалось подражание.

Семейственные нравы не укрылись от влияния царской деятельности. Вельможи стали жить открытым домом; их супруги и дочери вышли из непроницаемых теремов своих; балы, ужины соединили один пол с другим в шумных залах; россиянки перестали краснеть от нескромного взора мужчин, и европейская вольность заступила место азиатского принуждения... Чем более мы успевали в людскости, в обходительности, тем более слабели связи родственные: имея множество приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях и жертвуем свету союзом единокровия.

Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским, или царским правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, т. е. иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что, действительно, порочно; однако ж должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь – первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе оно! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию – неверным или братьям? Т. е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его,

чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр.

<...> В необыкновенных усилиях Петровых видим всю твердость его характера и власти самодержавной. Ничто не казалось ему страшным. Церковь российская искони имела главу сперва в митрополите, наконец в патриархе. Петр объявил себя главою церкви, уничтожив патриаршество, как опасное для самодержавия неограниченного. Но заметим, что наше духовенство никогда не противоборствовало мирской власти, ни княжеской, ни царской: служило ей полезным оружием в делах государственных и совестью в ее случайных уклонениях от добродетели. Первосвятители имели у нас одно право – вещать истину государям, не действовать, не мятежничать, – право благословенное не только для народа, но и для монарха, коего счастье состоит в справедливости. Со времен Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши уже только были угодниками царей и на кафедрах языком библейским произносили им слова похвальные. Для похвал мы имеем стихотворцев и придворных – главная обязанность духовенства есть учить народ добродетели, а чтобы сии наставления были тем действительнее, надобно уважать оное. <...> Власть духовная должна иметь особенный круг действия вне гражданской власти, но действовать в тесном союзе с нею. Говорю о законе, о праве. Умный монарх в делах государственной пользы всегда найдет способ согласить волю митрополита, или патриарха, с волею верховною; но лучше, если сие согласие имеет вид свободы и внутреннего убеждения, а не всеподданической покорности. Явная, совершенная зависимость духовной власти от гражданской предполагает мнение, что первая бесполезна, или, по крайней мере, не есть необходима для государственной твердости, – пример древней России и нынешней Испании доказывает совсем иное.

<...> Екатерина II была истинною преемницею величия Петрова и второю образовательницею новой России. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. Она

ласкала так называемых философов XVIII века и пленялась характером древних республиканцев, но хотела повелевать, как земной Бог, – и повелевала. Петр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких – Екатерина могла обойтись без оных, к удовольствию своего нежного сердца: ибо не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить данное ей Небом Отечество или славу свою – победами, законодательством, просвещением. <...> Екатерина очистила самодержавие от примесей тиранства. Следствием были спокойствие сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума.

Возвысив нравственную цену человека в своей державе, она пересмотрела все внутренние части нашего здания государственного и не оставила ни единой без поправления: Уставы Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования достойна особенной хвалы: Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе. Воинствуя, мы разили. Петр удивил Европу своими победами – Екатерина приучила ее к нашим победам. Россияне уже думали, что ничто в мире не может одолеть их, – заблуждение славное для сей великой монархини! <...> Правилom монархини было не мешаться в войны, чуждые и бесполезные для России, но питать дух ратный в империи, рожденной победами.

<...> Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно воспоминаем ее слабости и краснеем за человечество. Заметим еще, что правосудие не цвело в сие время; вельможа, чувствуя несправедливость свою в тяжбе с дворянином, переносил дело в Кабинет; там засыпало оно и не пробуждалось. В самых государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на бумаге, но худо примененное к обстоятельствам России. Солон говорил: «Мои законы несовершенные, но

лучшие для афинян». Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии оных: дала нам суды, не образовав судей; дала правила без средств исполнения. Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало; дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием для удовлетворения прихотям, стали обыкновеннее; сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархия, – не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни.

<...> Павел восшел на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы Французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства... Но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оногo. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных претерпленных им неудовольствий, он хотел быть Иоанном IV; но россияне уже имели Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен исполнять свои святыe обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права. Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким Уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у награды – прелесть; унизил чины и ленты расточительностью в оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский,

воспитанный Екатериною, и заменил его духом капральства. Героев, приученных к победам, учил маршировать; отвратил дворян от воинской службы; презирая душу, уважал шляпы и воротники, имея, как человек, природную склонность к благотворению, питался желчью зла; ежедневно вымышлял способ устрашать людей – и сам всех более страшился; думал соорудить себе неприступный дворец – и соорудил гробницу!.. <...> Заговоры суть бедствия, колеблют основу государств и служат опасным примером для будущности. Если некоторые вельможи, генералы, телохранители присвоят себе власть тайно губить монархов, или сменять их, что будет самодержавие? Игралищем олигархии, и должно скоро обратиться в безначалие, которое ужаснее самого злейшего властителя, подвергая опасности всех граждан, а тиран казнит только некоторых. Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для монархий, что закон должен располагать тронем, а Бог, один Бог, – жизнью царей!.. Кто верит Провидению, да видит в злом самодержце бич гнева небесного!

<...> Не сомневаясь в добродетели Александра, судили единственно заговорщиков, подвигнутых местию и страхом личных опасностей; винили особенно тех, которые сами были орудием Павловых жестокостей и предметом его благодеяний. Сии люди уже, большею частью, скрылись от глаз наших в мраке могилы или неизвестности... Едва ли кто-нибудь из них имел утешение Брута или Кассия пред смертью или в уединении. Россияне одобрили юного монарха, который не хотел быть окружен ими и с величайшею надеждою устремили взор на внука Екатерины, давшего обет властвовать по её сердцу!

Доселе говорил я о царствованиях минувших – буду говорить о настоящем, с моею совестью и с государем, по лучшему своему уразумению. Какое имею право? Любовь к Отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне Богом способности, некоторые знания, приобретенные мною в летописях мира и в беседах с мужами великими, т. е. в их творениях. Чего хочу? С добрым намерением – испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история.

Два мнения были тогда господствующими в умах: одни хотели, чтобы Александр в вечной славе своей взял меры для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе; другие, сомневаясь в надежном успехе такового предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатерины царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла. В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: «Можно, надобно только поставить закон еще выше государя». Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они – угодники царя, во втором захотят спорить с ним о власти, – вижу аристократию, а не монархию. Далее: что сделают сенаторы, когда монарх нарушит Устав? Представят о том его величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ?.. Всякое доброе русское сердце содрогается от сей ужасной мысли. Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто. Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава ее она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия? Если бы Александр, вдохновленный великодушною ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для предписания себе иных законов, кроме Божиих и совести, то истинный добродетельный гражданин российский дерзнул бы остановить его руку и сказать: «Государь! Ты преступаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями, Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!...»

Но вообразим, что Александр предписал бы монаршей власти какой-нибудь Устав, основанный на правилах общей пользы, и скрепил бы оный святостью клятвы... Сия клятва без иных способов, которые все или невозможны, или опасны для России, будет ли уздою для преемников Александровых? Нет, оставим мудрствования ученические и скажем, что наш государь имеет только один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти: да царствует добродетельно! да приучит подданных ко благу!.. Тогда родятся обычаи спасительные; правила, мысли народные, которые лучше всех бранных форм удержат будущих государей в пределах законной власти... Чем? – страхом возбудить всеобщую ненависть в случае противной системы царствования. Тиран может иногда безопасно господствовать после тирана, но после государя мудрого – никогда! «Сладкое отвращает нас от горького» – сказали послы Владимировы, изведав веры европейские.

Все россияне были согласны в добром мнении о качествах юного монарха: он царствует 10 лет, и никто не переменит о том своих мыслей; скажу еще более: все согласны, что едва ли кто-нибудь из государей превосходил Александра в любви, в ревности к общему благу; едва ли кто-нибудь столь мало ослеплялся блеском венца и столь умел быть человеком на троне, как он!.. Но здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры. Удивительный государственный феномен! Обыкновенно бывает, что преемник монарха жестокого легко снискивает всеобщее одобрение, смягчая правила власти: успокоенные кротостью Александра, безвинно не страшась ни Тайной канцелярии, ни Сибири, и свободно наслаждаясь всеми позволенными в гражданских обществах удовольствиями, каким образом изъясним сие горестное расположение умов? Несчастными обстоятельствами Европы и важными, как думаю, ошибками правительства, ибо, к сожалению, можно с добрым намерением ошибаться в средствах добра. Увидим...

Начнем со внешней политики, которая имела столь важное действие на внутренность государства. Ужасная французская революция была погребена, но оставила сына, сходного с нею в главных чертах лица. Так называемая республика обратилась в монархию, движимую гением властолюбия и побед. Умная Англия, испытав невыгоду мира, старалась снова поднять всю Европу на Францию и делала свое дело. Вена тосковала о Нидерландах и Ломбардии: война представляла ей великие опасности и великие надежды. Берлин хитрил, довольствуясь учтивостями: мир был для него законом благоразумия. Россия ничего не утратила и могла ничего не бояться, т. е. находилась в самом счастливейшем положении. Австрия, все еще сильная, как величественная твердыня, стояла между ею и Францией, а Пруссия служила нам уздой для Австрии. Основанием российской политики долженствовало быть желание всеобщего мира, ибо война могла изменить состояние Европы; успехи Франции и Австрии могли иметь для нас равно опасные следствия, усилив ту или другую. Властолюбие Наполеона теснило Италию и Германию; первая, как отдаленнейшая, менее касалась до особенных польз России; вторая долженствовала сохранять свою независимость, чтобы удалить от нас влияние Франции. Император Александр более всех имел право на уважение Наполеона; слава героя итальянского еще гремела в Европе и не затмилась стыдом Германа и Корсакова; Англия, Австрия были в глазах консула естественными врагами Франции; Россия казалась только великодушною посредницею Европы и, неотступно ходатайствуя за Германию, могла напомнить ему Треббию и Нови в случае, если бы он не изъявил надлежащего внимания к нашим требованиям.

<...> Никогда не забуду своих горестных предчувствий, когда я, страдая в тяжелой болезни, услышал о походе нашего войска... Россия привела в движение все силы свои, чтобы помогать Англии и Вене, т. е. служить им орудием в их злобе на Францию без всякой особенной для себя выгоды. Еще Наполеон в тогдашних обстоятельствах не вредил прямо нашей безопасности, огражденной Австриею, Пруссиею, числом и славою нашего воинства. Какие

замыслы имели мы в случае успеха? Возвратить Австрии великие утраты ее? Освободить Голландию, Швейцарию? Признаем возможность, но только вследствие десяти решительных побед и совершенного изнурения французских сил... Что оказалось бы в новом порядке вещей? Величие, первенство Австрии, которая из благодарности указала бы России вторую степень, и то до времени, пока не смирила бы Пруссия, а там объявила бы нас державою азиатскою, как Бонапарте. Вот счастливая сторона; несчастная уже известна!.. <...> Надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридланде, надлежало думать единственно о России, чтобы сохранить ее внутреннее благосостояние, т. е. не принимать мира, кроме честного, без всякого обязательства расторгнуть выгодные для нас торговые связи с Англией и воевать со Швецией, в противность святейшим уставам человечества и народным. Без стыда могли бы мы отказаться от Европы, но без стыда не могли служить в ней орудием Наполеоновым, обещав избавить Европу от его насилий. Умолчим ли о втором, необходимом для нашей безопасности, условии, от коего мы должныствовали бы отступить, разве претерпев новое бедствие на правом берегу Немана, — условии, чтобы не быть Польше ни под каким видом, ни под каким именем? Безопасность собственная есть высший закон в политике: лучше было согласиться, чтоб Наполеон взял Шлезию, самый Берлин, нежели признать Варшавское герцогство.

<...> Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество; жертвуя честью, справедливостью, вредим последнему. Мы взяли Финляндию, заслужив ненависть шведов, укоризну всех народов, — и я не знаю, что было горестнее для великодушия Александра — быть побежденным от французов, или принужденным следовать их хищной системе.

Пожертвовав союзу Наполеона нравственным достоинством великой империи, можем ли надеяться на искренность его дружбы? Обманем ли Наполеона? Сила вещей неодолима. Он знает, что мы внутренне ненавидим его, ибо его боимся; он видел усердие в последней войне австрийской, более нежели сомнительное. Сия двоякость была необходимым следствием того положения,

в которое мы поставили себя Тильзитским миром, и не есть новая ошибка. Легко ли исполняется обещание услуживать врагу естественному и придавать ему силы! <...> Что будет далее – известно Богу, но людям известны сделанные нами политические ошибки; но люди говорят: для чего граф Марков сердил Бонапарте в Париже? Для чего мы легкомысленно войною навели отдаленные тучи на Россию? Для чего не заключили мира прежде Аустерлица? Глас народа – глас Божий. Никто не уверит россиян, чтобы советники Трона в делах внешней политики следовали правилам истинной, мудрой любви к отечеству и к доброму государю. Сии несчастные, видя беду, думали единственно о пользе своего личного самолюбия.

Посмотрим, как они действовали и действуют внутри государства. Вместо того, чтобы немедленно обращаться к порядку вещей Екатеринина царствования, утвержденному опытом 34-х лет, и, так сказать, оправданному беспорядками Павлова времени; вместо того, чтобы отменить единственно излишнее, прибавить нужное, одним словом исправлять по основательному рассмотрению, советники Александровы захотели новостей в главных способах монаршего действия, оставив без внимания правило мудрых, что всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости: ибо одно время дает надлежащую твердость уставам; ибо более уважаем то, что давно уважаем и все делаем лучше от привычки.

<...> Движимый любовью к общему благу, Александр хотел лучшего, советовался и учредил министерства, согласно с мыслями фельдмаршала Миниха и с системою правительств иностранных. Прежде всего, заметим излишнюю поспешность в сем учреждении: министерства уставлены и приведены в действие, а не было еще наказа министрам, т. е. верного, ясного руководства в исполнении важных из обязанностей! Теперь спросим о пользе. Министерские бюро заняли место коллегий. Где трудились знаменитые чиновники, президент и несколько заседателей, имея долговременный навык и строгую ответственность правительствующего места, – там увидели мы маловажных чиновников, директоров, экспедиторов, столоничальников,

которые, под щитом министра, действуют без всякого опасения. Скажут, что министр все делает и за все отвечает; но одно честолюбие бывает неограниченно. Силы и способности смертного заключены в пределах весьма тесных. Например, министр внутренних дел, захватив почти всю Россию, могли основательно вникать в смысл бесчисленных входящих к нему и выходящих от него бумаг? Мог ли даже разумеать предметы столь различные? Начали являться, одни за другими, комитеты: они служили сатирой на учреждение министерств, доказывая их недостаток для благоуспешного правления. Наконец, заметили излишнюю многосложность внутреннего министерства... Что же сделали?.. Прибавили новое, столь же многосложное и непонятное для русских в его составе. Как? Опекі принадлежат министру полиции? Ему же и медицина? И пр[оч.], и пр[оч.]... Или сие министерство есть только часть внутреннего, или названо не своим именем? И благоприятствует ли славе мудрого правительства сие второе преобразование? Учредили и после говорят: «Извините, мы ошиблись: сие относится не к тому, а к другому министерству». Надлежало бы обдумать прежде; иначе, что будет порукою и за твердость иного Устава? Далее, основав бытие свое на развалинах коллегий, – ибо самая Военная и Адмиралтейская утратили важность свою в сем порядке вещей, – министры стали между государем и народом, заслоня Сенат, отнимая его силу и величие, хотя подведомые ему отчетами; но сказав: «Я имел счастье докладывать государю!» – заграждали уста сенаторам, а сия мнимая ответственность была доселе пустым обрядом. Указы, законы, предлагаемые министрами, одобряемые государем, сообщались Сенату только для обнародования. Выходило, что Россией управляли министры, т. е. каждый из них по своей части мог творить и разрушать. Спрашиваем: кто более заслуживает доверенность – один ли министр или собрание знатнейших государственных сановников, которое мы обвыкли считать высшим правительством, главным орудием монаршей власти? Правда, министры составляли между собою Комитет; ему надлежало одобрить всякое новое установление прежде, нежели оно утверждалось монархом; но сей Комитет не

походит ли на Совет 6 или 7 разноземцев, из коих всякий говорит особенным языком, не понимая других. Министр морских сил обязан ли разуместь тонкости судебной науки, или правила государственного хозяйства, торговли и проч.?.. Еще важнее то, что каждый из них, имея нужду в сговорчивости товарищей для своих особенных выгод, сам делается сговорчив.

<...> «В монархии, – пишет Монтескье, – должно быть хранилище законов». <...> Государь российский внемлет только мудрости, где находит ее: в собственном ли уме, в книгах ли, в голове ли лучших своих подданных; но в самодержавии не надобно никакого одобрения для законов, кроме подписи государя; он имеет всю власть. Совет, Сенат, комитеты, министры суть только способы ее действий, или поверенные государя; их не спрашивают, где он сам действует.

Спасительными уставами бывают единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве, и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное зло: учреждение министерств и Совета имело для всех действие внезапности. По крайней мере, авторы должныствовали изъяснять пользу своих новых образований: читаю и вижу одни сухие формы. Мне чертят линии для глаз, оставляя мой ум в покое. Говорят россиянам: «Было так, отныне будет иначе». Для чего? – не сказывают. Петр Великий в важных переменах государственных давал отчет народу: взгляните на Регламент духовный, где император открывает вам всю душу свою, все побуждения, причины и цель сего Устава. Вообще новые законодатели России славятся наукою письмоводства более, нежели наукою государственною...

<...> Все мудрые законодатели, принуждаемые изменять уставы политические, старались как можно менее отходить от старых. «Если число и власть сановников необходимо должны быть переменены, – говорит умный Макиавелли, – то удержите хотя имя их для народа». Мы поступаем совсем иначе: оставляем вещь, гоним имена, для произведения того же действия вымышляем другие способы! Зло, к которому мы привыкли, для нас

чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее? Где, в какой земле европейской блаженствует народ, цветет правосудие, сияет благоустройство, сердца довольны, умы спокойны?.. Во Франции?.. <...> Но где видим гражданское общество, согласное с истинною целию оною, – в России ли при Екатерине II, или во Франции при Наполеоне? Где более произвола и прихотей самовластия? Где более законного, единообразного течения в делах правительства? Мы читаем в прекрасной душе Александра сильное желание утвердить в России действие закона... Оставив прежние формы, но двигая, так сказать, оные постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть сей цели и затруднил бы для наследников отступление от законного порядка.

<...> Все намерения Александровы клонятся к общему благу. Гнушаясь бессмысленным правилом удержать умы в невежестве, чтобы властвовать тем спокойнее, он употребил миллионы для основания университетов, гимназий, школ... К сожалению, видим более убытка для казны, нежели выгод для Отечества. Выписали профессоров, не приготовив учеников; между первыми много достойных людей, но мало полезных; ученики не разумеют иноземных учителей, ибо худо знают язык латинский, и число их так невелико, что профессоры теряют охоту ходить в классы. Вся беда от того, что мы образовали свои университеты по немецким, не рассудив, что здесь иные обстоятельства. <...> Вообще Министерство так называемого просвещения в России донныне дремало, не чувствуя своей важности и как бы не ведая, что ему делать,

а пробуждалось, от времени и до времени, единственно для того, чтобы требовать денег, чинов и крестов от государя.

<...> Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной; иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла.

Так, нынешнее правительство имело, как уверяют, намерение дать господским людям свободу. Должно знать происхождение сего рабства. В девятом, десятом, первом-на-десять веке были у нас рабами одни холопы, т. е. или военнопленные и купленные чужеземцы, или преступники, законом лишенные гражданства, или потомки их; но богатые люди, имея множество холопей, населяли ими свои земли: вот первые, в нынешнем смысле, крепостные деревни. Сверх того, владелец принимал к себе вольных хлебопашцев в кабалу на условиях, более или менее стеснявших их естественную и гражданскую свободу; некоторые, получая от него землю, обязывались и за себя, и за детей своих служить ему вечно – вторая причина сельского рабства! Другие же крестьяне, и большая часть, нанимали землю у владельцев только за деньги, или за определенное количество хлеба, имея право по истечении урочного времени идти в другое место. Сии свободные переходы имели свое неудобство: вельможи и богатые люди сманивали к себе вольных крестьян от владельцев малосильных, которые, оставаясь с пустою землею, лишались способа платить государственные повинности. Царь Борис отнял первый у всех крестьян волю переходить с места на место, т. е. укрепил их за господами, – вот начало общего рабства. Сей устав изменялся, ограничивался, имел исключения и долгое время служил поводом к тяжбам, наконец, утвердился во всей силе – и древнее различие между крестьянами и холопами совершенно исчезло. Следует: 1) что нынешние господские крестьяне не были никогда владельцами, т. е. не имели собственной земли, которая есть законная, неотъемлемая собственность дворян. 2) Что крестьяне холопского происхождения – также законная собственность дворянская, и не могут быть освобождены лично без особенного некоторого удовлетворения помещикам. 3) Что одни вольные, Годуновым укрепленные за господами, земледельцы

могут, по справедливости, требовать прежней свободы; но как – 4) мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопей и которые от вольных людей, то законодателю предстоит немалая трудность в распутывании сего узла гордиева, если он не имеет смелости рассечь его, объявив, что все люди равно свободны: потомки военнопленных, купленных, законных невольников, и потомки крепостных земледельцев, – что первые освобождаются правом естественным так же, как вторые – правом монарха самодержавного отменять Уставы своих предшественников. Не вступая в дальнейший спор, скажем только, что в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому, и что благоразумный самодержец отменяет единственно те Уставы, которые делаются вредными или недостаточными и могут быть заменены лучшими.

Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить, где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства. Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая – в чем не может быть и спора – есть собственность дворянская. Они или останутся у помещиков, с условием платить им оброк, обрабатывать господские поля, доставлять хлеб куда надобно, одним словом, для них работать, как и прежде, – или, недовольные условиями, пойдут к другому, умереннейшему в требованиях, владельцу. В первом случае, надеясь на естественную любовь человека к родине, господа не предпишут ли им самых тягостных условий? Дотоле щадили они в крестьянах свою собственность, – тогда корыстолюбивые владельцы захотят взять с них все возможное для сил физических: напишут контракт, и земледельцы не исполнят его, – тяжбы, вечные тяжбы!.. Во втором случае, буде крестьянин ныне здесь, а завтра там, казна не потерпит ли убытка в сборе подушных денег и других податей? Не потерпит ли и земледелие? Не останутся ли многие поля не обработанными, многие житницы пустыми? Не вольные земледельцы, а дворяне наиболее снабжают у нас рынки хлебом. Иное зло: уже не завися от суда помещиков, решительного, безденежного, крестьяне начнут ссориться между собою и судиться в городе, – какое разорение!.. Освобожденные от надзора господ,

имевших собственную земскую исправу, или полицию, гораздо деятельнейшую всех земских судов, станут пьянствовать, злодействовать, – какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности! Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена – удержит ли?... Падение страшно. Первая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целостность государства; благотворить состояниям и лицам есть уже вторая. Он желает сделать земледельцев счастливее свободою; но ежели сия свобода вредна для государства? И будут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным? Нет сомнения, что крестьяне благоразумного помещика, который довольствуется умеренным оброком или десятиною пашни на тягло, счастливее казенных, имея в нем бдительного попечителя и заступника. Не лучше ли под рукою взять меры для обуздания господ жестоких? Они известны начальникам губерний. Ежели последние верно исполняют свою должность, то первых скоро не увидим; а ежели не будет в России умных и честных губернаторов, то не будет благоденствия и для поселян вольных. Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных – ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным, а система наших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спасительным приготовлением? В заключение скажем доброму монарху: «Государь! История не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян и есть решительное зло), – но ты будешь

ответствовать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных Уставов».

<...> Оставляя все другое, спросим: время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно применены к нашему гражданственному состоянию? Мы все, все любящие Россию, государя, ее славу, благоденствие, так ненавидим сей народ, обогранный кровью Европы, осыпанный прахом столь многих держав разрушенных, и, в то время, когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его Кодекс на святой алтарь Отечества?

<...> Мы говорили о вреде, говорить ли о средствах целебных? И какие можем предложить? – самые простейшие!

Минувшего не возвратить. Было время (о чем мы сказали в начале), когда Александр мог бы легко возобновить систему Екатеринина царствования, еще живого в памяти и в сердцах, по ней образованных...

<...> Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: от того – изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся – только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерства и Совет существуют: они будут полезны, если в министерстве и в Совете увидим только мужей, знаменитых разумом и честью. Итак, первое наше доброе желание есть, да способствует Бог Александру в счастливом избрании людей! Такое избрание, а не учреждение Сената с коллегиями ознаменовало величием царствование Петра во внутренних делах империи. <...> Вы не образуете полезного министерства сочинением Наказа, – тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложение, но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной. Одним словом теперь всего нужнее люди!

<...> Вот главное правило. Второе, не менее существенное, есть: умеете обходиться с людьми! Мало ангелов на свете, не так много и злодеев, гораздо

более смеси, т. е. добрых и худых вместе. Мудрое правление находит способ усиливать в чиновниках побуждение добра или обуздывает стремление ко злу. Для первого есть награды, отличия, для второго – боязнь наказаний. Кто знает человеческое сердце, состав и движение гражданских обществ, тот не усомнится в истине сказанного Макиавелли, что страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных. Если вы, путешествуя, увидите землю, где все тихо и стройно, народ доволен, слабый не утеснен, невинный безопасен, – то скажете смело, что в ней преступления не остаются без наказания. Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха! Любить добро для его собственных прелестей есть действие высшей нравственности – явления, редкого в мире: иначе не посвящали бы алтарей добродетели. Обыкновенные же люди соблюдают правила честности, не столько в надежде приобрести тем особенные некоторые выгоды, сколько опасаясь вреда, сопряженного с явным нарушением сих правил. Одно из важнейших государственных зол нашего времени есть бесстрашие. Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит! Доносят плуты – честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного вора-судью, особенно с нашим законом, по коему взяточбратель и взякодатель равно наказываются. Указывают пальцем на грабителей – и дают им чины, ленты, в ожидании, чтобы кто на них подал жалобу. А сии недостойные чиновники, в надежде на своих, подобных им, защитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, коего они условно лишились. <...> В России не будет правосудия, если государь, поручив оное судилищам, не будет смотреть за судьями. У нас не Англия; мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали вышним уставом. Сирены могут петь в круге трона: «Александр, воцари закон в России... и проч.»... Я возьмусь быть толкователем сего хора: «Александр! Дай нам, именем закона, господствовать над Россией, а сам покойся на троне, изливай единственно милости, давай нам чины, ленты, деньги!»... В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит,

и любовь первых приобретается страхом последних. Не бояться государя – не бояться и закона! В монархе российском соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола, – так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести.

<...> Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или царских. Худо, ежели слуги овладеют слабым господином, но благоразумный господин уважает отборных слуг своих и красится их честью. Права благородных суть не отдел монаршей власти, но ее главное, необходимое орудие,двигающее состав государственный. Мнение не мое, но всех глубокомысленных политиков есть, что твердо основанные права благородства в монархии служат ей опорой.

<...> Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству по мере общего к ним народного уважения. Не предлагаю восстановить Патриаршество, но желаю, чтоб Синод имел более важности в составе его и в действиях; чтобы в нем заседали, например, одни архиепископы; чтоб он, в случае новых коренных государственных постановлений, сходил вместе с Сенатом для выслушания, для принятия оных в свое хранилище законов и для обнародования, разумеется, без всякого противоречия. Ныне стараются о размножении духовных училищ, но будет еще похвальнее закон, чтобы 18-летних учеников не ставить в священники и никого без строгого испытания, – закон, чтобы иереи более пеклись о нравственности прихожан, употребляя на то данные им от Синода благоразумные, действительные средства, о коих мыслил и государь Петр Великий. По характеру сих важных духовных сановников можете всегда судить о нравственном состоянии народа. Не довольно дать России хороших губернаторов – надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе.

Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми – государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено, или ослаблено правилами царствующих.

Державы, подобно людям, имеют определенный век свой: так мыслит философия, так вещает история. Благоразумная система в жизни продолжает век человека, – благоразумная система государственная продолжает век государств; кто исчислит грядущие лета России? Слышу пророков близкогоконечного бедствия, но, благодаря Всевышнего, сердце мое им не верит, – вижу опасность, но еще не вижу гибели!

Еще Россия имеет 40 миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он, как человек, ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением, которое служит нам вероятностью будущего исправления ошибок.

<...> Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно. Возвращаясь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым, моля Всевышнего, да блюдет царя и Царство Российское!

Уваров С.С.

**О некоторых общих началах, могущих служить руководством при
управлении Министерством Народного Просвещения
(доклад императору Николаю I, 19 ноября 1833 г.)**

По вступлению моему с высочайшего Вашего Императорского Величества повеления в должность Министра Народного Просвещения употребил я, так сказать, заглавным, местом, лозунгом моего управления, следующие выражения: «Народное воспитание должно совершаться в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности».

Вместе с сим, считаю себя обязанным представить Вашему Величеству краткий, но чистосердечный отчет в моих понятиях о важном начале, мною

принимаемом в руководство. Посреди всеобщего падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, не взирая на повсеместное распространение разрушительных начал, Россия к счастью сохранила доселе теплую веру к некоторым религиозным, моральным, и политическим понятиям, ей исключительно принадлежащим. В сих понятиях, в сих священных остатках ее народности, находится и весь залог будущего ее жребия. Правительству, конечно, в особенности Высочайше вверенному мне министерству, принадлежит собрать их в одно целое и связать ими якорь нашего спасения, но сии начала, рассеянные преждевременным и поверхностным просвещением, мечтательными, неудачными опытами, сии начала без единодушия, без общего средоточия, и коим в течение последних 30 лет предстояла непрерывная борьба продолжительная и упрямая, как согласить их с настоящим расположением умов? Успеем ли мы включить их в систему общего образования, которая соединяла бы выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами будущего? Как учредить у нас народное воспитание, соответствующее нашему порядку вещей и не чуждое Европейского духа? По какому правилу следует действовать в отношении к Европейскому просвещению, к Европейским идеям, без коих мы не можем уже обойтись, но которые без искусного обуздания их грозят нам неминуемой гибелью? Чья рука и сильная и опытная, может удержать стремление умов в границах порядка и тишины и откинуть все, что могло бы нарушить общее устройство?

Тут представляется во всем объеме Государственная задача, которую мы принуждены решить без отлагательства, задача, от коей зависит судьба Отечества – задача столь трудная, что одно простое изложение оной приводит в изумление всякого здравомыслящего.

Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые составляют собственность России (а каждая земля, каждый народ имеет таковой Палладиум), открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить – имеем мы три главных:

1) Православная Вера.

2) Самодержавие.

3) Народность.

Без любви к Вере предков, народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них Веру, то же самое, что лишать их крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им низшую степень в моральном и политическом предназначении. Это было бы измена в пространном смысле. Довольно одной народной гордости, чтобы почувствовать негодование при такой мысли. Человек, преданный Государю и Отечеству, столько же мало согласится на утрату одного из догматов нашей Церкви, сколько и на похищение одного перла из венца Мономаха.

Самодержавие представляет главное условие политического существования России в настоящем ее виде. Пусть мечтатели обманывают себя самих и видят в туманных выражениях какой-то порядок вещей, соответствующий их теориям, их предрассудкам; можно их уверить, что они не знают России, не знают ее положения, ее нужд, ее желаний. Можно сказать им, что от сего смешного пристрастия к Европейским формам мы вредим собственным учреждениям нашим; что страсть к нововведениям расстраивает естественные сношения всех членов Государства между собою и препятствует мирному, постепенному развитию его сил. Русский Колосс упирается на самодержавии, как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, потрясает весь состав Государственный. Эту истину чувствует неисчислимое большинство между Русскими; они чувствуют оную в полной мере, хотя и поставлены между собой на разных степенях и различествуют в просвещении и в образе мыслей, и в отношениях к Правительству. Эта истина должна присутствовать и развиваться в народном воспитании. Правительство не нуждается конечно в похвальных себе словах, но может ли оно не заботиться о том, чтобы спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется спасительным духом Самодержавия, сильного, человеколюбивого, просвещенного, обращалось в неоспоримый факт, долженствующий одушевлять всех и каждого, во дни спокойствия, как и в минуты бури?

Наряду с сими двумя национальными началами, находится и третье, не менее важное, не менее сильное: Народность. Дабы Трон и Церковь оставались в их могуществе, должно поддерживать и чувство Народности, их связующее. Вопрос о Народности не имеет того единства, какое представляет вопрос о Самодержавии; но тот и другой проистекают из одного источника и совокупляются на каждой странице Истории Русского народа. Относительно Народности, все затруднение заключается в соглашении древних и новых понятий; но Народность не состоит в том, чтобы идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, перемещает наружный вид по мере возраста: черты изменяются с годами, но физиономия изменяться не должна. Безумно было бы противиться сему периодическому ходу вещей; довольно того, если мы не будем добровольно скрывать лицо под искусственной и нам не сродной личиной; если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий; если мы примем их за основную мысль Правительства, особенно в отношении к Народному Воспитанию. Между обветшалыми предрассудками, восхищающимися единственно тому, что было у нас за полвека и новейшими предрассудками, которые без жалости стремятся к разрушению существующего, посреди сих двух крайностей, находится обширное поле, на коем здание нашего благосостояния - твердо и неврединно укрепиться может.

Время, обстоятельства, любовь к Отечеству, преданность Монарху, все должно нас уверить в том, что пора нам, особенно касательно народного воспитания, обратиться к духу Монархических учреждений и в них искать той силы, того единства, той прочности, коих мы слишком часто думали открыть в мечтательных призраках равно для нас чуждых и бесполезных, следуя коим нетрудно было бы наконец утратить все остатки Народности, не достигнув мнимой цели Европейского образования.

К составу общей системы Народного Просвещения принадлежит много других предметов, как-то: направление, данное Отечественною Литературе,

периодическим сочинениям, театральным произведениям; влияние иностранных книг; покровительство, оказываемое художествам; но разбор всех сил отдельных частей повлек бы за собою довольно обширное изложение и мог бы легко обратить сию краткую записку в пространную книгу.

Конечно, принятие такой системы требовало бы более, нежели жизнь и силы одного или нескольких человек. Не тому, кто посеет сии семена, определено Промыслом пожинать плоды оных; но что значит жизнь и силы одного, когда дело идет о благе всех? Два или три поколения быстро исчезают с лица земли, но Государства долговечны, пока в них сохраняется священная искра Веры, Любви и Надежды.

Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества, посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала? Разум, испуганный при виде общих бедствий народов, при виде обломков прошедшего, падающих вокруг нас, и не прозревая будущего сквозь мрачную завесу событий, невольно предается унынию и колеблется в своих заключениях. Но если Отечеству нашему – как нам Русским и сомневаться в том нельзя – охраняемому Промыслом, даровавшим нам в лице великодушного, просвещенного, истинно Русского Монарха, залог неврежимой силы Государства, должно устоять против порывов бури ежеминутно нам грозящей, то образование настоящего и будущих поколений в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности составляет бесспорно одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени и вместе одно из труднейших поручений, коим доверенность Монарха могла бы почтить верноподданного, постигающего и важность оногo, и цену каждого мгновения и несоразмерность своих сил, и ответственность свою перед Богом, Государем и Отечеством.

Киреевский И.В.

Записка об отношении русского народа к царской власти

<...> Русский человек любит своего Царя. Это действительность несомненная, потому что очевидная и ощутительная для каждого. Но любовь к Царю, как и всякая любовь, может быть истинная и ложная, хорошая и дурная, – я не говорю уже о притворной. Ложная любовь та, которая любит в Царе только свою выгоду; это любовь – низкая, вредная и, в минуты опасные, готовая к предательству. Истинная любовь к Царю соединяется в одно неразделимое чувство с любовью к Отечеству, к законности и к Святой Православной Церкви. Потому эта любовь может быть великодушная. И как в сем деле отделять любовь к Царю от закона, Отечества и Церкви? Закон – это воля Царя, перед всем народом объявленная; Отечество – это лучшая любовь его сердца; Святая Православная Церковь – это его высшая связь с народом, это самое существенное основание его власти, причина доверенности народной к нему, совокупная совесть его и Отечества, живой узел взаимного сочувствия Царя и народа, основа их общего благоденствия, источник благословения Божьего на него и на Отечество.

Но любить Царя русского отдельно от России – значит любить внешнюю силу, случайную власть, а не русского Царя: так любят его раскольники и курляндцы, которые готовы были с такою же преданностью служить Наполеону, когда почитали его сильнее Александра. Любить Царя и не уважать законов или, под покровом его доверенности, под прикрытием его власти, нарушать законы, им же данные или им утвержденные, – это враждовать против него под маскою усердия, подкапывать его могущество в корне, убивать любовь Отечества к нему, отделять в народе понятие об нем от понятия о справедливости, о порядке и благосостоянии всеобщем – одним словом, в сердце народа отделять Царя от тех самых причин, для которых Россия хочет иметь Царя, от тех благ, в надежде на которые она так высоко уважает его. Наконец, любить его без всякого отношения к Святой Церкви как Царя

сильного, а не как Царя православного, думать, что его господствование не есть служение Богу и Его Святой Церкви, но только управление государством для мирских видов, что его правительственные выгоды отдельны от выгод Православия или даже что Церковь Православная есть средство, а не цель для бытия общенародного, что Святая Церковь может быть иногда помехою, а иногда полезным орудием для царской власти, – это любовь холопская, а не верноподданническая, любовь австрийская, а не русская; эта любовь к Царю – предательство перед Россией, и для самого Царя она глубоко вредная, хотя бы и казалась иногда удобною. Каждый совет ему от такой любви носит в себе тайный яд, разъедающий самые живые связи его с Отечеством. Ибо Православие есть душа России, корень всего ее нравственного бытия, источник ее могущества и крепости, знамя, собирающее все разнородные чувства ее народа в одну твердыню, залог всех надежд ее на будущее, сокровище лучших воспоминаний прошедшего, ее господствующая святыня, задушевная любовь. Ее-то опорою почитает народ Царя своего; и потому так беспредельно предан ему, ибо не разделяет Церковь с Отечеством. На сочувствии с ней основана вся его доверенность к Царю. Он видит в нем верного руководителя в делах государственных только потому, что знает в нем брата по Церкви, который вместе с ним служит ей как искренний сын той же матери и потому может быть надежным щитом ее внешнего благоденствия и независимости.

<...> русскому бывает так противно слушать, когда немец распространяется о своей преданности к Царю, – до чего немцы часто большие охотники при встречах своих с русскими. Русскому почти так же смутно на сердце слушать эти уверения немца, как ему тяжело слушать всегдашние уверения самых бессовестных и корыстных чиновников о их бескорыстном уважении к законам. В таких случаях русский простолюдин обыкновенно глядит на немца с каким-то печальным видом, как бы побежденный его превосходством, и никогда не входит с ним в состязание об этой любви к Царю, как бы вошел с ним в спор о том, кто отважнее, или кто сильнее, или кто крепче ударит кулаком, или кто дальше плюнет. Он нехотя

похвалит его за добрые чувства, а внутренне желал бы оставаться один своего мнения. Ибо он боится этой наружной преданности немцев, смутно понимая, что за связью с ними таится и Самозванец, и Бирон, и вся насильственная ломка его старинных нравов и родных обычаев и что оттуда бывает душное стеснение его сердечных убеждений, не находящих себе прежнего простора в его родной земле.

Правда, угнетения Петра, его презрение ко всему русскому, его раболепство перед иностранным русский простолюдин давно уже забыл. Немецкое правление Бирона давно уже вытеснило из его памяти все, что было иноземного и оскорбительного в петровских насилиях. Уже Елисавету встретил он радостно на престоле как русскую, как избавительницу от немецкого ига только потому, что она была не Курляндская и не Брауншвейгская, а дочь его прежнего Царя, не помня того, что этот Царь был Питер. Но зато теперь на презирающих его немцев и на зараженных ими господ своих слагает он всю вину своих бед и стеснений, надеясь на православного Царя как на сочувственного ему сына Церкви, и с нетерпением ждет того часа, когда немцы перестанут опутывать его своими лукавыми внушениями, от которых в его Отечестве устраивается образованность, противная его духу.

<...> Однако же несправедливо было бы думать, что нелюбовь русского к немцам происходит от его ненависти к умственному просвещению, которое через иностранцев приходит в Россию. Это клевета на русского человека, выдуманная иностранцами. Русский уважает науку и знание почти столько же, сколько не любит немцев, и даже если что-нибудь смягчает в нем нелюбовь к немцам, то это именно их превосходство в умственных познаниях. В незнании своем русский сам охотно сознается и без ложного стыда готов учиться у немца. Но ему противен тот чужой дух, в котором это просвещение к нему вводится, ему оскорбительно то иностранное клеймо, которое с него не снимается и вытесняет всякую русскую особенность.

Русский простолюдин рад учиться у немца, чтобы быть умнее, однако же лучше хочет быть глупым, чем немцем.

Русский образованный класс рассуждает иначе: он лучше хочет быть глупым ничтожеством, чем быть похожим на русского.

Однако же любовь к Царю и любовь к Православию и к России не потому только должны составлять одно, что русский простолюдин до сих пор не умеет их разделить, но потому, что они в сущности своей неразделимы, так же как любовь к Царю неразделима с любовью к законности, хотя это последнее понятие и затемнилось несколько в сознании русского народа от длинного ряда исторических причин. Законность, Отечество, Православие суть коренные стихии, из которых складывается понятие *русский Царь*. Потому любовь к нему, без любви к ним, была бы крайне вредною для него самого, если бы была возможная.

Без уважения к законности может быть страх перед силою, но нет того священного уважения к власти, которое видит в ней источник общего благоденствия, святой, беспристрастной справедливости, нравственного порядка, твердой собственности, счастливой уверенности в личной безопасности каждого последнего гражданина и залог правильного, живительного, просторного дыхания общественной жизни. Такое уважение к власти возводит покорность на степень благородной деятельности, обращая ее в великодушное подчинение высшему внутреннему убеждению.

Без любви к Отечеству можно раболепствовать перед Царем, как перед случайным могуществом, но нельзя любить его тою бескорыстною, самозабывающеюся любовью, которая в правильном действии его могущества видит надежду самых возвышенных благ, согревающих сердце человека на земле. Счастье Родины, ее светлая, неуроненная честь, ее всестороннее процветание, нравственное и умственное возрастание ее граждан, совестливое сбережение их человеческого достоинства, ясное определение их обязанностей, чистое охранение их прав, ненарушимая тишина их домашней жизни, святость их семейных отношений, разумная свобода их общественной деятельности, воспитывающая и скрепляющая в них жизненное развитие внутренних внушений и внешних обязанностей веры и Отечества, – одним словом, общее

довольство, живое благоденствие, общее возрастание всех возвышенных сил народа, совокупно на всех ступенях его общественной лестницы вырабатывающих в Отечестве его благополучие и славу, – вот к чему бьется сердце русского сына Отечества, – вот те возвышенные цели, которых достижения народ ожидает от власти, им управляющей. И как бы Отечество далеко от них ни отстояло, как бы ни было трудно их достижение, как бы ни была продолжительна дорога к ним, – но Россия верит ему, что сердце Царя ее стремится к ним, ведет ее Царь и к ним направляет его государственное возрастание <...>. И этой общей доверенностью народа особенно прекрасно достоинство царское в России. Те же, кто служат ему, как и иностранцы, не для блага Отечества, но из личных видов, поневоле должны мерить степень своего усердия ценою ожидаемых наград, и если притом они будут говорить о своей бескорыстной любви и преданности к Царю, то какой ребенок, совсем не знающий сердца человеческого, поверит их театральным уверениям? Оттого, между прочим, многие чиновные люди, которые при всей образованности своей не знают и не любят России и не ждут от нее ничего хорошего, так дорого ценят малейшие услуги свои Царю; оттого простолюдин русский считает ничем отдать всю свою жизнь за него, ибо в нем он видит надежду Отечества: его Царь не страшный, не могущественный, но надежда-Государь; потому, жертвуя собою, он не продает себя, но собственно следует внушению своей свободной любви. Если бы он не ждал от Царя блага своему Отечеству, то так же, как иностранец, не знал бы и бескорыстной ему преданности.

Но любить Россию нельзя без искренней преданности ее Православной Церкви: ею она проникнута во всех основах своего бытия, она составляет ее существенную особенность, ее душу и коренное условие ее правильного и благополучного возрастания.

<...> Под Православием, которое составляет душу России, ее живительное солнце и необходимое условие ее будущего благоденствия и величия, я разумею не те или другие обряды церковные, ибо хотя весьма уважаю их, но знаю, что они ничего существенного сами в себе не имеют

и важны только как временное выражение того духа христианского учения, который при других условиях мог бы проявляться и в других наружных видах. Я не разумею также под Православием той или другой догматики, составленной на русском, или греческом, или сирском языке каким-нибудь ученым мужем, ибо хотя весьма уважаю некоторые, но знаю, что каждое дело человеческое необходимо должно носить на себе следы человеческого несовершенства, а потому в каждой ученой догматике должны быть непременно и ошибки, и возможности более совершенного уразумения святых истин веры. Ни за то, чтобы ходить вокруг налож справа налево или слева направо, ни за то, чтобы выражать Святую Троицу теми или другими пальцами, я не хотел бы принять мученической смерти. Еще меньше хотел бы я умереть за ту или другую ученую догматику. Но прекрасна смерть за ту истину, которая составляет живую веру христианскую.

Под Православием разумею я не тот или другой образ мыслей того или другого иерарха Церкви. Я не разумею под ним даже тех толкований веры, которые по своему разуму или по своим временным побуждениям излагали совокупно все собравшиеся вместе церковные иерархи, ибо знаю, что даже в подобных случаях Господь попускал их иногда впадать в заблуждения, как, например, в полуарианском соборе в Римини, попускал для того, вероятно, чтобы тем яснее показать миру, какое различие между свободным Царством Духа Святаго в Церкви и наблюдениями человеческого устройства и как не зависит Божественное внушение от всех усилий людей, мечтающих какими-либо внешними условиями похитить себе дар Небесного Откровения. Вообще, не ту или другую сторону христианского учения, преимущественно тут или там раскрывшуюся, но я разумею под ним самое Божественное христианство, в его цельном, чистом, неискаженном виде, как оно сохранилось в самом Священном Писании и Святом Предании, Семейю Вселенскими Соборами утвержденном, святыми отцами нашей Церкви вдохновенно объясненным и особенно ясно выражающемся в нашем церковном богослужении, – в богослужении, которое носит в себе до сих пор горячие неискаженные следы постоянных верований

Святой Церкви истинных христиан всех времен, которые в нем неизменно одинаково сохраняются от первых веков до наших дней. Но чистое христианство стоит высоко над временным колебанием разума человеческого между двумя противоположными друг другу заблуждениями и одинаково удаляется от тех исповеданий, которые выдают внушения человеческого разума и плод человеческого устройства за догматы Небесного Откровения, принуждая верить человеческому наравне с Божественным, и от тех исповеданий, которые святость Божественных догматов низводят под суд человеческого разумения и верят голосу личного рассудка более Божественного Откровения.

Это святое Православное христианство, действуя в различные времена на различных людей и на различные народы, оставляло на них благодетельные следы своего влияния, служащие им руководительными признаками спасительного пути к совершенствованию, но для самой Церкви такие временные и местные следы ее действия на людей и народы ничего существенного не имеют и не составляют части ее самой, как на земле светлые места, солнцем озаренные, не составляют самого солнца; так что в другие времена на других людей и другие народы она может действовать иначе, в том же духе, но в иных явлениях своего духа, нисколько не утрачивая тем своей вечной цельности, постоянной неизменяемости и всегдашней полноты своей светозарной сущности.

Действие Православной Церкви на древнюю Россию было всеобъемлющее. Вся ее новообразующаяся жизнь была проникнута ею. Но влияния чужих народностей и, может быть, нравственные слабости и человеческие пороки внутри ее изменили еще гораздо прежде Петра правильность этого недостроившегося христианского образования и остановили его на полудороге. Тогда чужеземная образованность сделалась необходимою. Произошел тяжелый переворот Петра. Затем все, что мы знаем. Но сердце России не изменилось, и народ ее живет еще прежним духом.

Потому и образованность чужеземная *может* и для спасения России *должна* переработаться в ней согласно ее основному началу.

Просвещение иноземное должно в ней проникнуться духом Православия, если только ей суждено жить в будущем и не погибнуть в нравственном растлении, но возникнуть в новой силе и благоденственном устройстве. Тогда и на другие государства влияние ее христианского умственного, нравственного и государственного просвещения, проникнутого духом чистого христианства, будет благодетельно и еще несравненно могущественнее, чем сколько могущественна перед ними ее физическая громадность.

Потому, кто не отчаялся в судьбе своего Отечества, тот не может отделить любви к нему от искренней преданности Православию. И кто православен по своим убеждениям, тот не может не любить России, как избранный Богом сосуд Его Святой Церкви на земле. Вера в Церковь Божию и любовь к православной России в душе истинно русского не разделяются и не различаются. Потому и русского Царя не может любить человек, держащийся другого исповедания, разве любовью вредною для Царя и для России; любовью, которой влияние по необходимости должно стремиться разрушить именно то, что составляет самое первое условие взаимной связи Царя с Россиею, основу его правильного и благополучного царствования и условия ее правильного и благополучного устройства.

Потому желать, чтобы правительство русское перестало иметь дух и носить характер правительства православного, но было совершенно равнодушно к исповеданиям, принимая дух так называемого общего христианства, ни к какой особенной Церкви не принадлежащего и выдуманного в новейшие времена некоторыми неверующими философами и полу верующими протестантами, – желать этого значило бы для настоящего времени разорвать все связи любви и доверенности между правительством и народом, а для будущего, – т. е. если бы правительство скрывало свое равнодушие к Православию до тех пор, покуда воспитает народ до такой же холодности к своей Церкви, – это произвело бы совершенное разрушение всей крепости

России и уничтожение всей ее мировой значительности. Ибо для того, кто знает Россию и ее православную веру несомненно, что как на ней она выросла и ею окрепла, так ею только может быть сильна и благоденственна.

Одно возражение, несколько благовидное, могут приводить неверующие и иноверцы против главенства Православия в России – это то просвещение, которое выросло под влиянием других исповеданий или даже под внушением самого безверия и которое они почитают несовместным с господством Православной Церкви. Но этим возражением они доказывают только или свое кривое понятие о просвещении, или свое совершенное незнание Православия. Православие не только не противно истинному просвещению, но, напротив, требует его для своего процветания в народе и человеке и само составляет его вернейшую основу и, можно сказать, единственное условие его правильного и нравственно свободного развития. Оно не только не разрушается наукою, но еще более укрепляется ею в умах, само своим вдохновительным действием оживляя правильную деятельность разума. Ибо оно не связывает стеснительно своих догматов веры с какими-нибудь временными понятиями в науках, не убивает действия разума какими-нибудь произвольными приговорами понятий, не подчиняет также основных догматов веры случайным воззрениям самомнительных личностей или временным выводам человеческой науки, но, давая полную свободу разуму, постоянно держит перед ним руководительное знамя вечных, Самим Богом открытых человеку истин веры, не принуждая его к тем или другим применениям науки к вере, но своим внутренним влиянием постоянно и свободно привлекая разум к истине. Самый характер обычного мышления для человека, воспитанного в духе Православия, помогает ему в приобретении истинного просвещения, приучая его во всех смещениях явлений и мыслей различать сторону неприкосновенно Божественную от стороны усовершенствованной человеческой и, благоговей перед одной, подвергать другую суду своего разума, находящего в совести внутренне для себя побуждение: стремиться по возможности к соглашению одной с другою, человеческого с Божественным. Между тем как латинянин часто принужден

убивать свой разум, принимая человеческое за Божественное, а протестант искажает его, не зная необходимости его соглашать с Божественным, но приравнивая Божественное его протестанта, минутным и личным увлечениям.

«Мы любим Россию, – скажут некоторые, – мы православны, потому что крещены в Православной Церкви, мы очень бы желали видеть, чтобы ее влияние переработало в России всю западную образованность согласно духу Православия, если только это возможно; но именно потому мы и боимся развития в России того духа законности, которому образцы находим в некоторых иностранных государствах и который прямо ведет к уничтожению самодержавной власти Царя русского, к вольнодумным требованиям конституции и тому подобным беспорядкам».

Но говорящие таким образом не видят или не хотят видеть, что требования конституции и беспокойное желание ограничить верховную власть гораздо легче могут вспыхнуть в сердце народа, страдающего от всеобщего беззакония и не находящего против него защиты в самодержавии Царя, чем в народе, твердо устроенном в своих частных и общественных отношениях, огражденном в своем быту от своевольных притеснений чиновников, спокойном в своей личной безопасности и неприкосновенности своей собственности, не принужденном искать прихотливой милости и случайного покровительства для пользования своими частными правами и могущем только потерять многое, а не приобрести что-нибудь от переворота государственного. Те, которые боятся развития законности потому, что оно ведет к конституции, бывают иногда подвержены странному недоразумению. Они как-то забывают, что страшное иностранное слово *конституция* в русском переводе значит ни больше ни меньше как *устройство*. Потому бояться для государства *конституции вообще* – значит бояться всякого государственного устройства, что было бы верхом бессмысленности. Правда, однако же, что с этим словом соединились в последнее время и некоторые особенные понятия, смешанные с ложными теориями, которые произвели великий вред во многих государствах,

так что любовь к этим ложным теориям можно действительно назвать одною из опасных болезней европейского просвещения. Но не надобно забывать, что такая болезнь для России опасна быть не может, да и в Европе, кажется, она уже изменила свой характер. К тому же и в Европе насильственные и безотчетные требования конституций, начавшиеся с половины прошедшего века, не были следствием развития законности в народах, но следствием распространения некоторых политических теорий, которые произошли из особенного характера европейского просвещения и теперь уже отживают свое время. Правда, что в Англии английская конституция, служившая образцом для политических систем, образовалась не вследствие теорий, но выросла самородно вместе с развитием духа законности в народе, — это коренное отличие Англии от других государств Европы. Потому-то эта ее особенность, и конституцию ее составляет ее исключительную принадлежность, и не может быть ни твердо, ни благодетельно перенесена в другие земли, имеющие другую историю.

Но во Франции вспыхнули требования государственного переобразования именно оттого, что она страдала от общей беззаконности и надеялась вместе с английской конституцией приобрести английскую законность. Последствия разоблачили пустоту этой надежды.

В Германии требования конституций возникли также не из желания законности, но были следствием распространения французских мнений, перешедших в политические учения их профессоров, из кабинета смотревших на жизнь государства. Если бы требования верховных переобразований выросли самобытно на германской почве, то они, быть может, носили бы с собою и формы особенно ей соответственные. Всего вероятнее, что тогда они созрели бы незаметно, а не в насильственных переворотах.

Испания и Италия так же очевидно дышат одними французскими мыслями и хватаются за них так страстно только с отчаяния от внутренних неурядиц и всеобщей беззаконности и от тяжести чужеземного насилия. В России же бояться развития духа законности оттого, что он может привести

ее к беспорядочным требованиям чужеземной конституции, – значит не знать истории, не знать сердца человеческого и, особенно, не знать России.

Подобные стремления в ней могли возникать только в очень молодых людях, ослепленных иностранными теориями, или в людях, крайне страдающих именно от недостатка общей законности. В пародии же самая любовь к Царю есть собственно остаток прежнего уважения к закону, так что если последнее совсем исчезнет, то и первое поколеблется.

В государствах, где верховная власть не ограничена, общественные и политические перевороты совершаются тем легче, чем менее законности упрочено на всех ярусах государственного здания и чем более политическое общество зависит от личных произволов частных людей.

<...> Фирманы султана, несмотря на его наружное самодержавие, не исполняются в Турции, когда они противоречат воле пашей, из которых каждый по временам задумывается о том, как бы самому захватить верховную власть; ибо где нет законности в основе общественного устройства, там всего зыбче место верховной власти.

Этим-то собственно и отличается самодержавие от деспотизма, что в первом, как, например, было в Пруссии до 46-го года, все связано законами, кроме верховного властителя, поддерживающего их силу и святость для собственной своей выгоды, между тем как в деспотическом правлении все слуги власти самодержавны, насильственно ограничивая таким образом свою беззаконностью самодержавие высшего законоблюстителя.

Впрочем, надобно сказать, что если страсть к конституциям, соединенная с насильственными переворотами, основанная на книжных теориях и <...> мечтаниях, есть действительно великое зло для государства, то, напротив, развитие весомой и твердой законности в народе, если бы и могло через известное время иметь косвенным последствием своим нравственное ограничение верховной власти, связавшей себя своим собственным обычно законным образом действия и затруднившей себе возможность уклонения в произвольные действия силой собственной привычки к законности

и твердостью общественного порядка, согласно с нею самой и с потребностями народа устроенного, – то такое ограничение не было бы зло ни для народа, ни для самой верховной власти. Напротив, это высший идеал власти, к которому она должна стремиться для собственной выгоды и для высшего блага Отечества. Но ограничение власти было бы так же мало для нее стеснительно, как ограничение, происходящее от уважения законов совести, стеснительно для честного человека. Человек тем свободнее, чем легче ему действовать по законам совести, и тем зависимее от внешних понуждений, чем более подчиняется страсти. Так и власть тем сильнее и <...>, чем правильнее и чем согласнее с законами и духом государства, и тем слабее и ломче, чем более подвержена прихотливым увлечениям личности.

Противны верховной власти не твердость законов, но те ложные понятия о средствах водворить эту твердость, которые распространились в Европе после Французской революции. Это так справедливо, что перед Французской революцией самые мудрые правители поставляли главной задачей своего правления устроить эту твердость законов в своих государствах. Но когда они увидели, что народы не иначе понимают возможность законной твердости, как в виде вооруженного лагеря, враждебного их власти, тогда, естественно, многие из них начали устроить свой лагерь, враждебный народной законности. Оба заблуждения равно губительны. Заблуждение народов было губительно тем, что они законную твердость видели только в насильственном ограничении королей. Заблуждение королей было не менее губительно потому, что они смешали саму твердость законов с теми общественными формами, в которых теоретически ее понимали, и, опасаясь последних, враждовали с первою...

Впрочем, оба заблуждения находят своих отцов далеко в истории. Личности многих королей были таковы, что, действительно, должны были возбудить в народах мысль о насильственном их ограничении. С другой стороны, мысль эта так срослась с понятиями некоторых народов о законности, что трудно было развивать одну, не укрепляя другой.

Желать бумаги с написаниями на ней ограничений верховной власти, поддерживающимися спором враждующих партий, желать двух палат с борьбою противных интересов, желать необходимой оппозиции, стремящейся, по долгу своего положения, затруднять все действия правительства с целью самой захватить его вожжи, – это было бы совершенно безумным, потому что совершенно невозможным. Весь модный механизм англо-французских конституций прямо противен самой натуре словенских народов, исключая Польши и, может быть, некоторой части Чехии. Словенские народы менее всех других способны увлекаться чужими формами или книжными теориями, противными их обычаям, потому не может быть ни малейшей вероятности, чтобы когда-нибудь Россия заразилась страстию иностранных конституций, особенно если внутри ее всеобщая законность вырастет из ее коренных потребностей и скрепится силою привычки и развитием одного общественного духа на всех ступенях гражданского устройства.

«Но этот самый общественный дух, – скажут люди, страдающие общео духобоязненностию, – этот развитый и проникнутый законностию дух народа не будет ли ограничением самовластия царского? Эта обычаям утвердившаяся законность не будет ли собственно русская конституция, только под другим именем и в других формах? Не будет ли она для России то же, что английская для Англии, с тою только разницею, что возникнет незаметно и без переворотов и, следовательно, тем еще крепче утвердится? Что же станется тогда с самодержавием?»

На эти столь далеко боязливые опасения приверженцев вечного самовластия я могу отвечать только тою уверенностию, что то, чего они боятся, – эта конечная цель развития законности в России, где самодержавие само собою и заметно исчезнет в твердости общего порядка, – не только не противно воле Самодержца русского, но, без малейшего сомнения, составляет самую главную мысль и постоянную цель всех его трудов и забот о благе и устройстве государственном. Эту уверенность мою подтвердят мне

единодушно все те, кто сколько-нибудь уважают личность царскую, и, если двадцать генерал-адъютантов станут говорить мне противное, я сочту долгом не верить им. Ибо то, что составляет благо России, не может не составлять главной цели ее Царя.

«Но известно, — скажут другие, — что для развития законности необходимо развитие общественного мнения, а для того и другого развитие некоторой гласности. Все это может быть весьма опасно и повести к беспорядкам»

Но почему же это известно, что беспорядки могут выйти именно оттого, что образуется законное общественное мнение? Какая опасность может произойти из гласности, когда она направлена не против правительства, но против тех же неурядиц и беспорядков, с которыми враждует само правительство? «Оттого, — скажут они, — что мнение, сделавшись силою, может пойти и против правительства, что управлять им будут не чиновники, а литераторы, которые по натуре своей более склонны к обольстительным мечтаниям, чем к настоящему разумению дела».

Такое опасение, по-видимому, весьма благовидно, но в действительности оно совершенно неосновательно. Общество тем способнее увлечься литературными фразами, чем менее в нем развит общественный смысл. Литература в самом деле никогда не подымала народы к бунту, но только иногда давала им в руки знамя, когда они поднимались другими побуждениями; и, когда не умели ясно сознать причин своего восстания, она давала слово для крику. Побуждения же к восстанию были всегда жизненные и общественные, а не литературные. Стрельцы бунтовали против Софии и Петра без всякой литературы, напротив, именно потому, что были невежественными. Миних свергнул Бирона и посадил Ивана Антоновича на престол тоже без помощи обольстительных фраз. Лесток свергнул Ивана с Правительницею и посадил Елисавету тоже не литературою. Екатерина свергла Петра также не литературною гласностию, а темным сочувствием войска. Пугачев поднял целые губернии, не умея грамоты. Страшный новгородский

бунт поселенцев произошел также не от писательских возбуждений. Бунт на Сенной был также не литературный. Только на Адмиралтейской площади 14-го числа действовало несколько писателей, но и те действовали не словесностью, а подняли войска обманом. Сами же заразились иностранными литературными теориями единственно потому, что не знали Россию, и не знали ее именно по той причине, что у нее нет ни своей гласности, ни своего просвещения. В Англии вся земля, так сказать, имеет голос в литературе и, несмотря на то, не было ни одного бунта, произведенного литературою, а те, которые случались в ней, — те происходили единственно из существенных побуждений вне литературы. Между тем несомненно, что в ней развитием гласности утишались многие беспорядки и еще несравненно большие предупреждались ею. Ибо общественный смысл движется не книжными фразами, но чутьем жизненных интересов, которые тем правильнее понимаются обществом, чем более в нем гласности, уславливающей самосознание. При развитом смысле общество безошибочно умеет отличить безыскусственное слово человека дельного от книжных возгласов и кабинетных мечтаний, отделенных от существенности.

Литература может, право, иметь некоторую самостоятельную силу там, где, как во Франции с конца прошедшего века, поколебалась вера, смешались нравственные понятия и где, следовательно, выдуманные системы философские заменили убеждения веры и нравственности. Там мнения литературные наследовали и действующую силу прежних религиозных и нравственных убеждений. Но и там, если разобрать поглубже, народ подымался другими причинами, а кричал только те или другие фразы потому, что уже был взволнован. К тому же во Франции хотя была развита гласность, но никогда в народе французском не была развита законность. До сих пор еще почти каждый француз при каждом удобном случае готов захватить себе больше прав, чем сколько ему принадлежит по закону, и это насильственное присвоение себе не принадлежащих прав почитается какою-то честью; между тем как англичанин почитает честью ни в каком случае не переступить границы законности. Ибо гласность хотя нужна для развития законности, как воздух нужен для растения, но из нее одной законность не исходит, как и растение из

воздуха. Семя, из которого она вырастает, есть живое, глубокое и крепкое убеждение народное, из веры рождающееся и все нравственные и общественные вопросы в одно зерно совокупающее. Во Франции же как скоро погасла вера, то и все убеждения пошатнулись.

Казалось, правда, будто в ней были какие-то горячие мнения, похожие на убеждения, но эта горячность была наружная. Во все время Первой республики, при каждом перевороте правления, которые случались так часто, вся Франция по указу новой власти приходила в восторг от каждого нового крика политического убеждения, и вся готова была умереть за него, и пляшет от восторга, подымая на гильотину нынешних приверженцев своего вчерашнего мнения, покуда новый переворот в правительстве не предписывал ей новый восторг к иному мнению. Ныне она была в упоении от безбожия, с восторгом поклонялась богине разума; завтра по указу Робеспьера пришла в восторг от того, что ей велено было признать Единого Бога. Потом разом бросила все свои республиканские убеждения, с восторгом раболепствуя Наполеону. Потом была в восторге от конституции; потом сломала ее и пришла в восторг от другой; потом опять пришла в восторг от республики. Теперь опять служит самовластному имени Наполеона.

Разумеется, ничего бы этого не могло быть, если бы ее мнения были развитием истинного и крепкого убеждения, воплощенного в твердую законность. Тогда гласность не волновала бы ее, но успокаивала всякую возможность волнения. Ибо законная гласность столько же отличается от пустых возгласов, сколько ясное сознание от всякого крику. Она не только не производит мечтательных увлечений, но, напротив, отнимает у них всю силу.

Потому бояться законности, и законной гласности, и свободного законного развития общественных убеждений в народе не только не значит любить Царя, но, напротив, наружность такой боязни скорее может происходить от скрытой ненависти к его власти, старающейся под личиною усердия подвергнуть ее всем опасностям волнений и переворотов.

<...>

Герцен А.И.

Русский народ и социализм (Le peuple Russe et le socialism).

Письмо к И. Мишле

Милостивый государь,

Вы стоите слишком высоко в мнении всех мыслящих людей, каждое слово, вытекающее из вашего благородного пера, принимается европейскою демократиею с слишком полным и заслуженным доверием, чтобы в деле, касающемся самых глубоких моих убеждений, мне было возможно молчать и оставить без ответа характеристику русского народа, помещенную вами в вашей легенде о Костюшке.

Этот ответ необходим и по другой причине; пора показать Европе, что, говоря о России, говорят не об отсутствующем, не о безответном, не о глухонемом.

Мы, оставившие Россию только для того, чтобы свободное русское слово раздалось, наконец, в Европе, – мы тут налицо и считаем долгом подать свой голос, когда человек, вооруженный огромным и заслуженным авторитетом, утверждает, что «Россия не существует, что русские не люди, что они лишены нравственного смысла».

Если вы разумеете Россию официальную, царство-фасад, византийско-немецкое правительство, то вам и книги в руки. Мы соглашаемся вперед со всем, что вы нам скажете. Не нам тут играть роль заступника. У русского правительства так много агентов в прессе, что в красноречивых апологиях его действий никогда не будет недостатка.

Но не об одном официальном обществе идет речь в вашем труде; вы затрагиваете вопрос более глубокий; вы говорите о самом народе. Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту! Посудите сами, могу ли я, по совести, молчать.

Русский народ, милостивый государь, жив, здоров и даже не стар, напротив того, очень молод. Умирают люди и в молодости, это бывает, но это ненормально. Прошное русского народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее. Он *не верит* в свое настоящее положение, он имеет дерзость тем более ожидать от времени, чем менее оно дало ему до сих пор. Самый трудный для русского народа период приближается к концу. Его ожидает страшная борьба; к ней готовятся его враги. Великий вопрос: *to be or not to be* [быть иль не быть (англ.)] – скоро будет решен для России. Но грешно перед борьбою отчаиваться в успехе.

Русский вопрос принимает огромные, страшные размеры; он сильно озабочивает все партии; но мне кажется, что слишком много занимаются Россиею императорскою, Россиею официальной и слишком мало Россиею народной, Россиею безгласной.

Даже смотря на Россию только с правительственной точки зрения, не думаете ли вы, что не мешало бы познакомиться поближе с этим неудобным соседом, который дает чувствовать себя во всей Европе, – тут штыками, там шпионами? Русское правительство простирается до Средиземного моря своим покровительством Оттоманской Порте, до Рейна своим покровительством немецким своякам и дядям, до Атлантического океана своим покровительством *порядку* во Франции.

Не мешало бы, говорю я, оценить по достоинству этого всемирного покровителя, исследовать, не имеет ли это странное государство другого призвания, кроме отвратительной роли, принятой петербургским правительством, – роли преграды, беспрестанно вырастающей на пути человечества.

Европа приближается к страшному катаклизму. Средневековый мир рушится. Мир феодальный кончается. Политические и религиозные революции изнемогают под бременем своего бессилия; они совершили великие дела, но не исполнили своей задачи. Они разрушили веру в престол и в алтарь, но не осуществили свободу; они зажгли в сердцах желания, которых они не в силах

исполнить. Парламентаризм, протестантизм все это были лишь отсрочки, временное спасение, бессильные оплоты против смерти и возрождения. Их время минуло. С 1848 года стали понимать, что ни окостенелое римское право, ни хитрая казуистика, ни тощая деистическая философия, ни бесплодный религиозный рационализм не в силах отодвинуть совершение судеб общества.

Гроза приближается, этого отвергать невозможно. В этом соглашаются люди революции и люди реакции. У всех закружилась голова; тяжелый, жизненный вопрос лежит у всех на сердце и сдавливает дыхание. С возрастающим беспокойством все задают себе вопрос, достанет ли силы на возрождение старой Европе, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму? Со страхом ждут ответа, и это ожидание ужасно.

Действительно, вопрос страшный! Сможет ли старая Европа обновить свою остывающую кровь и броситься стремглав в это необозримое будущее, куда увлекает ее необоримая сила, к которому она несется без оглядки, к которому путь идет, может быть, через развалины отцовского дома, через обломки минувших цивилизаций, через попорченные богатства новейшего образования?

С обеих сторон верно поняли всю важность настоящей минуты. Европа погружена в глухой, душный мрак накануне решительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томление. Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы; везде неограниченное господство светской инквизиции; вместо законного порядка — осадное положение. Один нравственный двигатель управляет всем — страх, и его достаточно. Все вопросы отступают на второй план перед всепоглощающим интересом реакции. Правительства, по-видимому, самые враждебные, сливаются в единую, вселенскую полицию. Русский император, не скрывая своей ненависти к французам, награждает парижского префекта полиции; король неаполитанский жалует орден президенту республики. Берлинский король, надев русский мундир, спешит в Варшаву обнимать своего врага, императора австрийского, в благодатном присутствии Николая, в то время как он, отщепенец от единой спасающей церкви,

предлагает свою помощь римскому владыке. Среди этих сатурналий, среди этого шабаша реакции, ничто не охраняет более личности от произвола. Даже те гарантии, которые существуют в неразвитых обществах, в Китае, в Персии, не уважаются более в столицах так называемого образованного мира. Едва веришь глазам. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?

Право, если бы не было свободной и гордой Англии, «этого алмаза, оправленного в серебро морей», как называет ее Шекспир, если б Швейцария, как Петр, убоявшись кесаря, отеклась от своего начала, если б Пизмонт, эта уцелевшая ветка Италии, это последнее убежище свободы, загнанной за Альпы и не перешедшей Апеннины, если б и они увлеклись примером соседей, если б и эти три страны заразились мертвящим духом, веющим из Парижа и Вены, – можно было бы подумать, что консерваторам уже удалось довести старый мир до конечного разложения, что во Франции и Германии уже наступили времена варварства.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертного томления и мучительного возрождения, среди этого мира, распадающегося в прах вокруг колыбели, взоры невольно обращаются к востоку. Там, как темная гора, вырезающаяся из-за тумана, виднеется враждебное, грозное царство; порою кажется, оно идет, как лавина, на Европу, что оно, как нетерпеливый наследник, готово ускорить ее медленную смерть. Это царство, совершенно неизвестное двести лет тому назад, явилось вдруг, без всяких прав, без всякого приглашения, грубо и громко заговорило в совете европейских держав и потребовало себе доли в добыче, собранной без его содействия. Никто не посмел восстать против его притязаний на вмешательство во все дела Европы.

Карл XII попытался, но его до тех пор непобедимый меч сломился; Фридрих II захотел воспротивиться посягательствам петербургского двора; Кенигсберг и Берлин сделались добычей северного врага. Наполеон проник с полумиллионом войска в самое сердце исполина и уехал один украдкой, в первых попавшихся пошевнях. Европа с удивлением смотрела на бегство

Наполеона, на несущиеся за ним в погоню тучи казаков, на русские войска, идущие в Париж и подающие по дороге немцам милостыню их национальной независимости. С тех пор Россия налегла, как вампир, на судьбу Европы и стережет ошибки царей и народов. Вчера она чуть не раздавила Австрию, помогая ей против Венгрии, завтра она провозгласит Бранденбург русскою губерниєю, чтобы успокоить берлинского короля.

<...> Иные говорят только о всемогуществе царя, о правительственном произволе, о рабском духе подданных; другие утверждают, напротив, что петербургский империализм не народен, что народ, раздавленный двойным деспотизмом правительства и помещиков, несет ярмо, но не мирится с ним, что он не уничтожен, а только несчастен, и в то же время говорят, что этот самый народ придает единство и силу колоссальному царству, которое давит его. Иные прибавляют, что русский народ – *презренный сброд* пьяниц и плутов; другие же уверяют, что Россия населена способною и богато одаренною порою людей.

<...> Вам принадлежит великая заслуга: вы первый во Франции заговорили о русском народе, вы невзначай коснулись самого сердца, самого источника жизни. Истина сейчас бы обнаружилась вашему взору, если б в минуту гнева вы не отдернули протянутой руки, если б вы не отвернулись от источника, потому что он показался мутным.

Я с глубоким прискорбием прочел ваши озлобленные слова. Печальный, с тоскою в сердце, я, признаюсь, напрасно искал в них историка, философа и прежде всего любящего человека, которого мы все знаем и любим. Спешу оговориться; я вполне понял причину вашего негодования: в вас заговорила симпатия к несчастной Польше. Мы также глубоко испытываем это чувство к нашим братьям-полякам, и у нас это чувство – не только жалость, а также стыд и угрызение совести. Любовь к Польше! Мы все ее любим, но разве с этим чувством необходимо сопрягать ненависть к другому народу, столь же несчастному, народу, который принужден был своими связанными руками помогать злодействам свирепого правительства? Будем великодушны, не

забудем, что на наших глазах народ, вооруженный всеми трофеями недавней революции, согласился на восстановление варшавского порядка в Риме; а сегодня... взгляните сами, что происходит вокруг вас... а ведь мы не говорим еще, чтобы французы *перестали быть людьми*.

Пора забыть эту несчастную борьбу между братьями. Между нами нет победителя. Польша и Россия подавлены общим врагом. Жертвы, мученики и те отворачиваются от прошлого, равно печального для них и для нас. Ссылаюсь, как вы, на вашего друга, на великого поэта Мицкевича.

Не говорите о мнениях польского певца, что «это милосердие, святое заблуждение». Нет, это плоды долгой и добросовестной думы, глубокого понимания судеб славянского мира. Прощение врагов – прекрасный подвиг; но есть подвиг еще более прекрасный, еще больше человеческий: это понимание врагов, потому что понимание – разом прощение, оправдание, примирение!

Славянский мир стремится к единству; это стремление обнаружилось тотчас после наполеоновского периода. Мысль о славянской федерации уже зарождалась в революционных планах Пестеля и Муравьева. Многие поляки участвовали в тогдашнем русском заговоре.

Когда вспыхнула в Варшаве революция 1830 года, русский народ не обнаружил ни малейшей вражды против ослушников воли царской. Молодежь всем сердцем сочувствовала полякам. Я помню, с каким нетерпением ждали мы известия из Варшавы; мы плакали, как дети, при вести о поминках, справленных в столице Польши по нашим петербургским мученикам. Сочувствие к полякам подвергало нас жестоким наказаниям; поневоле надобно было скрывать его в сердце и молчать.

<...> Я провел пять лет в ссылке в отдаленных губерниях империи; много встречал я там ссыльных поляков. Почти в каждом уездном городе живет либо целое семейство, либо один из несчастных воинов независимости. Я охотно сослался бы на их свидетельство; конечно, они не могут пожаловаться на недостаток симпатии со стороны местных жителей. Разумеется, тут речь идет не о полиции и не о высшей военной иерархии. Они нигде не отличаются

любовью к свободе, тем паче в России. Я мог бы сослаться также на польских студентов, посылаемых ежегодно в русские университеты для удаления от родных влияний; пусть они расскажут, как принимали их русские товарищи. Они расставались с нами со слезами на глазах.

<...> Солидарность, связывающая Россию и Польшу между собою и со всем славянским миром, не может быть отвергнута; она очевидна. Еще более: вне России нет будущности для славянского мира; без России он не разовьется, он расплывается и будет поглощен германским элементом; он сделается австрийским и потеряет свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнению, его судьба, его назначение.

Следуя за постепенным развитием вашей мысли, я должен вам признаться, что мне невозможно согласиться с вашим взглядом, по которому вся Европа представляет одну личность, в которой каждая народность играет роль необходимого органа.

Мне кажется, что все германо-романские народности необходимы в европейском мире, потому что они существуют, но что трудно было бы доказать, что они существуют в нем вследствие какой-нибудь необходимости. Уже Аристотель отличал предсуществующую необходимость от необходимости, вносимой впоследствии фактов. Природа покоряется необходимости совершившихся событий, но колебание между разнообразными возможностями очень велико. На том же основании славянский мир может предъявлять свои права на единство, тем более, что он состоит из единого племени.

Централизация противна славянскому духу; федерализация гораздо свойственнее его характеру. Только сгруппировавшись в союз свободных и самобытных народов, славянский мир вступит, наконец, в истинно историческое существование. На его прошлое можно смотреть только как на рост, на приготовление, на очищение. Исторические государственные формы, в которых жили славяне, не соответствовали внутренней национальной потребности их, потребности неопределенной, инстинктивной, если хотите, но

тем самым заявляющей необыкновенную жизненность и много обещающей в будущем. Славяне до сих пор во всех фазах своей истории обнаруживали странное полувнимание, даже удивительную симпатию. Так Россия перешла из язычества в христианство без потрясений, без возмущений, единственно из покорности великому князю Владимиру, из подражания Киеву. Старых идолов без сожаления оросили в Волхов и покорились новому богу, как новому идолу.

Восемьсот лет спустя часть России точно так же покорилась выписной из-за границы цивилизации.

<...> Что касается до богатства народного духа, то нам достаточно указать на поляков, единственный славянский народ, который бывал разом и силен и свободен.

Славянский мир, в сущности, не так разнороден, как кажется. Под внешним слоем рыцарской, либеральной и католической Польши, императорской, поработанной, византийской России, под демократическим правлением сербского воеводы, под бюрократическим ярмом, которым Австрия подавляет Иллирию, Далмацию и Банат, под патриархальной властью Османлисов и под благословением черногорского владыки живет народ, физиологически и этнографически тождественный.

<...> Императорский панславизм, восхваляемый от времени до времени людьми купленными или заблуждающимися, разумеется, не имеет ничего общего с союзом, основанным на началах свободы.

Здесь логика необходимо приводит нас к вопросу первостепенной важности. Предположив, что славянский мир может надеяться в будущем на более полное развитие, нельзя не спросить, который из элементов, выразившихся в его зародышевом состоянии, дает ему право на такую надежду? Если славяне считают, что их время пришло, то этот элемент должен соответствовать революционной идее в Европе. Вы указали на этот элемент, вы коснулись его, но он ускользнул от вас, потому что благородное сострадание к Польше отвлекло ваше внимание.

Вы говорите, что «основание жизни русского народа есть *коммунизм*», вы утверждаете, что «его сила лежит в аграрном законе, в постоянном дележе земли».

Какое страшное *Мане-фекел* вылетело из ваших уст!.. Коммунизм в основании! Сила, основанная на разделе земель! И вы не испугались ваших собственных слов? Не следовало ли тут остановиться, подумать, углубиться в вопрос, оставить его не прежде, чем убедившись, мечта это или истина? Разве в XIX столетии есть какой-нибудь серьезный интерес, лежащий вне вопроса о коммунизме, вне вопроса о разделе земель?

Увлеченный вашим негодованием, вы продолжаете: «У них (у русских) недостает существенного признака человечности — нравственного чутья, чувства добра и зла. Истина и правда не имеют для них смысла; заговорите о них — они молчат, улыбаются и не знают, что значат эти слова». Кто же те русские, с которыми вы говорили? Какие понятия о правде и истине оказались для них недоступными? Этот вопрос не лишний. В наше глубоко революционное время слова *правда* и *истина* утратили свое абсолютное, тождественное для всех значение.

<...> Есть народы, жившие жизнью доисторической; другие — живущие жизнью внеисторическою; но, раз вступивши в широкий поток единой и нераздельной истории, они принадлежат *человечеству*, и, с другой стороны, им принадлежит все прошлое человечества. В истории, т. е. в деятельной и прогрессивной части человечества, мало-помалу сглаживается аристократия лицевого угла, цвета кожи и других различий. То, что не очеловечилось, не может вступить в историю; поэтому нет народа, взошедшего в историю, которого можно было бы считать стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных.

Нет человека довольно смелого или довольно неблагодарного, чтобы отвергать огромное значение Франции в судьбах европейского мира; но позвольте мне откровенно признаться, что я не могу согласиться с вашим

мнением, по которому участие Франции – условие *sine qua non* [непременное (лат.)] дальнейшего хода истории.

<...> И все это тем труднее принять, что занимающий нас народ, даже по словам его врагов, нисколько не находится в застое. Это вовсе не племя, дошедшее до общественных форм, приблизительно соответствующих его желаниям, и уснувшее в них, как китайцы, еще менее народ, переживший себя в угасающий в старческой немощи, как индусы. Напротив того, Россия государство совершенно новое – неконченное здание, где все еще пахнет свежей известью, где все работает и вырабатывается, где ничто еще не достигло цели, где все изменяется, часто к худшему, но все-таки изменяется. Одним словом это народ, по вашему мнению, имеющий основным началом коммунизм, сильный разделом земель...

<...> Имя царя еще возбуждает в народе суеверное сочувствие; не перед царем Николаем благоговееет народ, но перед отвлеченной идеею, перед мифом; в народном воображении царь представляется грозным мстителем, осуществлением правды, вечным провидением.

После царя одно духовенство могло бы иметь влияние на православную Россию. Оно одно представляет в правительственных сферах старую Русь; духовенство не бреет бороды и тем самым осталось на стороне народа. Народ с доверием слушает монахов. Но монахи и высшее духовенство, исключительно занятые жизнью загробной, нимало не заботятся о народе. Попы же утратили всякое влияние вследствие жадности, пьянства и близких сношений с полицией. И здесь народ уважает идею, но не личности.

<...> Кроме царя и духовенства, все элементы правительства и общества совершенно чужды, существенно враждебны народу. Крестьянин находится, в буквальном смысле слова, вне закона. Суд ему не заступник, и все его участие в существующем порядке дел ограничивается двойным налогом, тяготеющим на нем и который он вносит трудом и кровью. Отверженный всеми, он понял инстинктивно, что все управление устроено не в его пользу, а ему в ущерб, и что задача правительства и помещиков состоит в том, как бы вымучить из

него побольше труда, побольше рекрут, побольше денег. Понявши это и одаренный сметливым и гибким умом, он обманывает их везде и во всем. Иначе и быть не может: если б он говорил правду, он тем самым признавал бы над собою их власть; если б он их не обкрадывал (заметьте, что со стороны крестьянина считают покражею утайку части произведений собственного труда), он тем самым признавал бы законность их требований, права помещиков и справедливость судей.

<...> Жизнь русского народа до сих пор ограничивалась общиною; только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и обязанности. Вне общины все ему кажется основанным на насилии. Роковая сторона его характера состоит в том, что он покоряется этому насилию, а не в том, что он отрицает его по-своему и старается оградить себя хитростию. Ложь перед судьей, поставленным незаконною властью, гораздо откровеннее, чем лицемерное уважение к присяжным, подтасованным купленным префектом. Народ уважает только те установления, в которых отразились присущие ему понятия о законе и праве.

Есть факт, несомненный для всякого, кто близко познакомится с русским народом. Крестьяне редко обманывают друг друга; между ними господствует почти неограниченное доверие, они не знают контрактов и письменных условий. Вопросы о размежевании полос по необходимости бывают очень сложны при беспрестанных разделах земель по числу тягол; между тем дело обходится без жалоб и процессов. Помещики и правительство жадно ищут случая для вмешательства; но этот случай не представляется. Мелкие несогласия повергаются на суд старикам или миру, и их решение беспрекословно принимается всеми. Точно так же в артелях. Артели составляются часто из нескольких сотен работников, соединяющихся на определенное время, например, на год. По прошествии года работники делят между собою заработки по трудам каждого и по общему соглашению. Полиция никогда не имеет удовольствия вмешиваться в их счета. Почти всегда артель отвечает за каждого из артельщиков.

<...> У русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма; эта нравственность глубоко народная; немногое, что известно ему из Евангелия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству.

<...> Община спасла русский, народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательств власти; она благополучно дожила *до развития социализма в Европе*. Это обстоятельство бесконечно важно для России.

Русское самодержавие вступает в новый фазис. Выросшее из антинациональной революции, оно исполнило свое назначение; оно осуществило громадную империю, грозное войско, правительственную централизацию. Лишенное действительных корней, лишенное преданий, оно обречено на бездействие; правда, оно возложило было на себя новую задачу – внести в Россию западную цивилизацию, и оно до некоторой степени успевало в этом, пока еще играло роль просвещенного правительства. Эта роль теперь оставлена им.

Правительство, распавшееся с народом во имя цивилизации, не замедлило отречься от образования во имя самодержавия. Оно отреклось от цивилизации, как скоро сквозь ее стремления стал проглядывать трехцветный призрак либерализма; оно попыталось вернуться к национальности, к народу. Это было невозможно. Народ и правительство не имели ничего общего между собою; первый отвык от последнего, а правительству чудился в глубине масс новый призрак, еще более страшный призрак – *красного петуха*. Конечно, либерализм был менее опасен, чем новая пугачевщина, но страх и отвращение от либеральных идей стали так сильны, что правительство не могло более примириться с цивилизацией.

С тех пор единственной целью царизма остался царизм. Он властвует, чтоб властвовать. Громадные силы употребляются на взаимное уничтожение,

на сохранение искусственного покоя. Но самодержавие для самодержавия напоследок становится невозможным; это слишком нелепо, слишком бесплодно.

<...> К сожалению, нет ничего общего между феодальным монархизмом с его определенным началом, с его прошлым, с его социальной и религиозной идеею, и наполеоновским деспотизмом петербургского царя, имеющим за себя лишь печальную историческую необходимость, преходящую пользу, не опирающимся ни на каком нравственном начале.

<...> Партия движения, прогресса требует освобождения крестьян; она готова принести в жертву свои права. Царь колеблется и мешает; он хочет освобождения и препятствует ему.

Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли; что освобождение земли, в свою очередь, – начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма. Обойти вопрос об освобождении невозможно; отодвинуть его решение до следующего царствования, конечно, легче, но это малодушно, и, в сущности, это только несколько часов, потерянных на скверной почтовой станции без лошадей...

Из всего этого вы видите, какое счастье для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания.

«Европа, – я это сказал в другом месте, – не разрешила антиномии между личностью и государством, но она поставила себе задачею это разрешение». Россия также не нашла этого решения. Перед этим вопросом начинается наше равенство.

Европа, на первом шагу к социальной революции, встречается с этим народом, который представляет ей осуществление, полудикое, неустроенное, но все-таки осуществление постоянного дележа земель между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная Россия, но сам

народ, его жизненный процесс. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы не больше, как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европой. Человек будущего в России – *мужик*, точно так же, как во Франции работник.

<...> Стан, враждебный России официальной, состоит из горсти людей, на все готовых, протестующих против нее, борющихся с нею, обличающих, подкапывающих ее. Этих одиноких бойцов от времени до времени запирают в казематы, терзают, ссылают в Сибирь, но их место не долго остается пустым; новые борцы выступают вперед; это наше предание, наш майорат.

<...> Мы разделяем ваши сомнения, но ваша вера не согревает нас. Мы разделяем вашу ненависть, но не понимаем вашей привязанности к завещанному предками; мы слишком угнетены, слишком несчастны, чтобы довольствоваться полусвободой. Вас связывают scrupules [сомнения, от *scrupule* (франц.)], вас удерживают задние мысли. У нас нет ни задних мыслей, ни scrupules; у нас только недостает силы...

Вот откуда в нас эта ирония, эта тоска, которая нас точит, доводит нас до бешенства, толкает нас вперед, пока добьемся мы Сибири, истязания, ссылки, преждевременной смерти. Мы жертвуем собою без всякой надежды; от желчи; от скуки... В нашей жизни в самом деле есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего косного, ничего мещанского.

<...> Какое же нам дело до ваших заветных обязанностей, нам, младшим братьям, лишенным наследства? И можем ли мы по совести довольствоваться вашею изношенной нравственностью, не христианскою и не человеческою, существующею только в риторических упражнениях и в прокурорских докладах! Какое уважение может внушать нам ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее здание без света и воздуха, подновленное в средние века, подбеленное вольноотпущенным мещанством? Согласен, что дневной разбой в русских судах еще хуже, но из этого не следует, что у вас есть справедливость в законах и судах. <...>

Чернышевский Н.Г.

Апология сумасшедшего

Печатаю записку П.Я. Чаадаева, <...> мы должны сделать несколько замечаний о ее характере и образе мыслей человека, получившего такую почтенную известность одним письмом, напечатанным лет 25 тому назад. «Апология», печатаемая нами теперь, содержит в себе объяснение этого письма, помещенного в «Телескопе» за 1836 год.

<...> Первое письмо Чаадаева, бывшее причиной прекращения «Телескопа» и удаления из Москвы издателя журнала, произвело, как все рассказывают, потрясающее впечатление на тогдашнюю публику. Оно поразило всех страшным отчаянием, которое, как тогда казалось, господствует в нем. Нынешняя публика, более привыкшая к мыслям широким и неприкрашенным, едва ли почувствует такое впечатление от чтения письма. <...> Содержание письма очень просто. Чаадаев говорит, что мы не участвовали в жизни Западной Европы, потому не вошли в нашу жизнь те понятия и обычаи, на которых зиждется нынешняя европейская цивилизация. Нам нужно еще учиться всему тому, что с первых лет детства входит в жизнь западного человека. Учиться трудно и времени на это нужно много, потому людей истинно цивилизованных в нашем обществе еще мало, а господствует в нем беспорядок понятий и обычаев. Даже те немногие, которые сами по себе могут назваться цивилизованными людьми, не ведут той жизни, не имеют тех интересов, не делают тех дел, каких следовало бы ожидать от цивилизованного человека и которые составляют их собственную внутреннюю потребность. В Западной Европе этой разладицы, шаткости и скуки нет, потому что там развитое и установившееся общество поддерживает человека, дает ему средства для жизни, приличной его внутреннему развитию. У нас в обществе вы не находите никакой опоры, а видите только хаос, сбивающий вас с толку, увлекающий вас в пошлость или наводящий на вас уныние. Из этого следует, что нам надобно как можно усерднее стараться об устройении тех великих идей,

которые руководят истинно цивилизованными народами и которые до сих пор еще так слабо привились.

Вот сущность мыслей, находящихся в напечатанном письме Чаадаева. Читатель согласится, что теперь в них нет ровно ничего особенно страшного. Если хотите, они и в 1836 году являлись в печати уже не в первый раз. Не говоря о других книгах и журналах, в самом «Телескопе», с самого начала, то есть около шести лет, Надеждин говорил почти то же самое, и более двух лет почти то же самое говорил Белинский. Разница была разве в том, что они высказывали такой взгляд на русскую жизнь в статьях о каких-нибудь частных предметах, а письмо Чаадаева собственно только и занималось изложением дела в его самом общем виде.

<...> Чаадаев был человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия. Каждому известно, что в IX веке западная церковь отделилась от восточной, а мы приняли христианство уже в X веке, то есть по разделении церквей. Известно также, что до начала XVI века вся Западная Европа была связана единством исповеданий. Чаадаев с особенным вниманием занимался этою стороною вопроса о причинах долговременной нашей отдельности от Западной Европы. Он говорил, что Западную Европу составляли страны католические, страны чуждого нам исповедания, и большая половина его письма наполнена восторженными похвалами высокому значению христианства и сожалениями о том, что мы, русские, только называем себя христианами, а теплого христианского чувства в нас мало. Сообразно своему религиозному настроению духа, он говорил, что нам следует быть религиознее, что только благочестие сделает нас и просвещенными, и счастливыми. <...> Мы обратим внимание только на общественную и историческую стороны этого интересного произведения; мы ограничиваем наш обзор этою частью его идей тем охотнее, что в ней собственно и заключается сущность взгляда, а религиозность составляет единственно облачение его.

Перевод статьи Чаадаева напечатан под заглавием «Философические письма к г-же ***. Письмо первое».

<...> Для всех народов бывает период сильной, страстной, бессознательной деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом. Это время великих страстей, великих ощущений. Народы движутся в то время сильно, без видимой причины; но не без пользы для будущих поколений. Все общества проходили через этот период. <...> Мы не имеем ничего подобного. В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жесткое, унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и доныне. Вот горестная история нашей юности. Мы совсем не имели возраста этой безмерной деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа. Эпоха нашей общественной жизни, соответствующая этому возрасту, наполняется существованием темным, бесцветным, без силы, без энергии.

<...> Первые годы нашего существования, проведенные в неподвижном невежестве, не оставили никакого следа на умах наших. Мы не имеем ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль. Разобщенные какою-то странною судьбою от всемирной жизни человечества, мы ничего не извлекли даже из идей, которые сообщаются человечеству преданиями. А на этих-то идеях основывается частная жизнь народов; из них развивается их будущность, их нравственное образование. Чтоб сравниться с прочими образованными народами, нам необходимо переначать для себя снова все воспитание человеческого рода. Для этого перед нами история народов и плоды движения веков.

<...> У нас нет развития собственного, самобытного, совершенствования логического. Старые идеи уничтожаются новыми, потому что последние не истекают из первых, а западают к нам Бог знает откуда; наши умы не браздятся неизгладимыми следами последовательного движения идей, которое составляет их силу, потому что мы заимствуем идеи уже развитые.

<...> Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со временем преподать какой-нибудь великий урок миру. Нет никакого сомнения, что это предназначение принесет свою пользу: но кто знает, когда это будет?

Народы Европы имеют одну общую физиономию, какой-то отблеск односемейности. Несмотря на разделение их на ветви латинскую и тевтоническую, на южную и северную, между ними есть связь общая, которая соединяет их, связь видимая для всякого, кто углубляется в их общую историю. Давно ли вся Европа называлась «христианством» и это название имело место в ее публичном праве? Но кроме этого общего характера, каждый из них имеет еще свой особенный, придаваемый ему историей и преданиями. И то и другое составляет родовое наследие идей этих народов. Каждое частное лицо пользуется плодами этого наследия; без утомления, без труда, собирает на жизненном пути сведения, рассеянные в обществе, и употребляет их в свою пользу. Теперь сравните сами: много ли соберете вы у нас начальных идей, которые каким бы то ни было образом, могли бы руководствовать нас в жизни?

<...> Всем нам недостает некоторого рода основательности, методы, логики. Силлогизм Запада нам неизвестен. В наших лучших головах есть что-то большее, чем неосновательность. Лучшие идеи от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средств придти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что последует; он лишается всякой уверенности, всякой твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире.

<...> По нашему местному положению между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы соединять в себе два великие начала разума: воображение и рассудок; должны бы совмещать в нашем гражданственном образовании историю всего мира. Но не таково предназначение, павшее на нашу долю. Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий

закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума, и исказили все, что сообщило нам это совершенствование.

<...> Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной презираемой всеми народами Византии. Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства: и мы приняли от нее идею, искаженную человеческою страстию. В это время животворящее начало единства одушевляло всю Европу. Все истекало там из этого начала; все сосредоточивалось; всякое умственное движение силилось объединить человеческую мысль; всякое побуждение проявлялось могучею потребностью отыскать одну всемирную идею; это самое и составляет дух новейших времен. Чуждые этому дивному началу, мы сделали добычею завоевателей. Свергнув иго чужеземное, мы могли бы воспользоваться идеями, которые развились между тем у наших западных братьев, но мы были оторваны от общего семейства.

<...> Далее автор развивает мысль о благотворных плодах христианства и продолжает: но вы вообразите, разве мы не христиане, разве образование возможно только по образцу европейскому? Без сомнения, мы христиане; но разве абиссинцы не христиане же? Разумеется, можно образоваться отлично от Европы; разве японцы не образованы и, если верить одному из наших соотечественников, даже более нас? Но неужели вы думаете, что христианство абиссинцев и образованность японцев могут воссоздать тот порядок, о котором я говорил сию минуту, порядок, который составляет конечное предназначение человечества? Неужели вы думаете, что эти жалкие отклонения от божественных и человеческих истин низведут небо на землю?

<...> Читателю известно, что напечатание перевода письма Чаадаева имело своим последствием составление акта о сумасшествии автора. <...> «Апология сумасшедшего» по нашему списку произведение не dokonченное: Чаадаев, как видно, вздумал было написать ряд записок в свое оправдание,

и вполне написал первую из них, которая представляется, как увидит читатель, цельным и законченным сочинением.

<...> Будем говорить о первой записке или главе. Заглавие показывает цель, с которой она составлена: Чаадаев хочет оправдать свое письмо, за которое признан был сумасшедшим. Для кого именно составлена записка, в ней самой нет прямых указаний. <...> Свойство комментариев, которыми сопровождаем мы печатаемую нами записку, может достаточно свидетельствовать, что мы не могли руководиться никакими соображениями, кроме того уважения, какого достойно имя Чаадаева. <...> Первые строки ее имеют вид христианских размышлений о терпении; переходя к людям, негодующим на него, автор говорит, что гнев их проистекал из оскорбленной их любви к отечеству.

<...> Вот уже триста лет Россия стремится к слиянию с Западом Европы, берет от него свои серьезнейшие идеи, свои плодотворнейшие знания, свои самые живейшие наслаждения. Вот уже более века она не ограничивается этим. Величайший из наших государей, который, как говорят, начал для нас новую эру, которому, как говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, которыми ныне владеем, отрекся сто пятьдесят лет тому назад от старой России, перед лицом старого мира. Своим всемогущим дуновением он смел все наши учреждения, вырыл бездну между нашим прошедшим и нашим настоящим и бросил в нее все без разбора наши предания. Сам он поехал в западные страны стать малейшим в них и возвратился величайшим из нас; преклонился перед Западом и восстал нашим владыкою и законодателем. В наш язык он ввел языки Запада; свою новую столицу он назвал западным именем; свой наследственный титул он отверг и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои самодержавные постановления западным именем. С тех пор постоянно смотря на западные страны, мы, так сказать, только вдыхали в себя приносившиеся к нам оттуда дуновения и питались ими. Наши государи наложили на нас нравы, язык, одежду Запада. Называть вещи их именами мы

выучились, но благодаря западным книгам; нашей собственной истории стала учить нас одна из западных стран; мы перевели целиком литературу Запада, затвердили ее наизусть; мы нарядились в его обноски и считали счастьем своим походить на Запад и славою себе, когда он благоволил причислять нас к своим людям.

Надобно сознаться, прекрасно было это создание Петра Великого, эта могущественная мысль, охватившая нас и устремившая нас в тот путь, по которому нам суждено было проходить с таким блеском. <...> Избранники провидения всегда посылаются для целого человечества. Сначала их называет своими один народ, потом сливаются они с целым человеческим родом, как те великие реки, которые, оплодотворив обширные страны, несут дань своих вод океану. Зрелище, представленное им вселенной, когда, покидая царское величие и свою страну, он скрылся в последних рядах цивилизованных народов, было новым усилием человеческого гения выйти из узких границ отчизны, чтобы водвориться в великой сфере человечества. Таков был урок, который мы должны были от него принять; мы им, действительно, воспользовались и до сих пор шли по пути, указанному нам великим императором. Наше громадное развитие только исполнение этой величественной программы. Никогда не было народа менее напыщенного собой, чем русский народ, созданный Петром Великим, и никогда никакой народ не приобретал более славных успехов на пути прогресса.

<...> Петр Великий под своею сильною рукою нашел белую бумагу и начертил на ней слова: «Европа» и «Запад»; с той поры мы стали принадлежать Европе и Западу. <...> Самая глубокая черта нашей исторической физиономии – отсутствие самобытности в развитии нашего общества.

<...> Наши фанатические славянофилы, в своих раскопках, могут от времени до времени выкапывать любопытные предметы для наших музеев, для наших библиотек, но, кажется, позволительно сомневаться, чтобы они когда-нибудь успели извлечь из нашей исторической почвы, чем бы наполнить

пустоту наших душ, остановить шаткость наших умов. Посмотрите на Европу средних веков: нет события, которое не было бы, так сказать, абсолютно необходимым, которое не оставило бы глубоких следов в сердце человечества. Отчего ж это? Оттого, что в основе каждого события вы находите идею; потому, что история средних веков – история мысли новых времен, стремящаяся воплотиться в искусстве, в науке, в жизни человека, в обществе. Зато сколько следов эта история отпечатлела в умах, как она распахала почву, на которой действует дух человека! Я знаю, что не всякая история имеет такой строго логический ход, как история этой изумительной эпохи, в которой выработалось христианское общество под владычеством верховного принципа; но таков истинный характер развития отдельных народов или целой семьи народов, и нации, лишенные такого прошедшего, должны, принимая свою судьбу, искать не в своей истории, не в своей памяти, а в других источниках элементов своего дальнейшего прогресса. О жизни народов можно сказать то же, что о жизни индивидуумов. Все люди жили, но только человек гениальный или человек, поставленный в известные особенные условия, имеет настоящую историю.

<...> Мир всегда был разделен на две части, на Восток и Запад. Это не одно только географическое деление, это также порядок вещей, вытекающий из самой природы разумного существа; это два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие всю экономию человеческого рода. Человеческий дух организовался на Востоке, сосредоточиваясь, самоуглубляясь и замыкаясь в себе; расширяясь на внешний мир во всех направлениях, борясь со всеми препятствиями, развился он на Западе. Общество естественно сформировалось по этим коренным данным. На Востоке мысль, ушедшая в самое себя, ищущая безопасности в бездействии, скрывшаяся в пустыне, оставила гражданскую власть обладательницей всех земных благ; на Западе мысль, раскидываясь повсюду, обнимая все нужды человека, стремясь ко всем благам, основала власть на принципе права. Но в той и другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; в той и другой

человеческий ум был обилен высокими вдохновениями, глубокими мыслями, возвышенными созданиями. Первым явился Восток и пролил на землю потоки света из лона своего одинокого мышления; потом явился Запад с своей неутомимой деятельностью, своим живым словом, своим всемогущим анализом овладел его трудами, закончил начатое Востоком и охватил его, наконец, своими широкими объятиями. Но на Востоке умы покорны: коленопреклонясь перед авторитетом времен, истощились соблюдением безусловной покорности чтимому принципу и, наконец, заснули, скованные своим неподвижным синтезом, не подозревая новых судеб, которые для них готовились; а на Западе между тем они продолжали идти, гордые и свободные, преклоняясь только перед авторитетами разума и неба.

<...> Но вот является новая школа. Ей не нужен Запад, она хочет разрушить дело Петра Великого, хочет повернуть назад, в пустыню. Забывая, чем обязаны мы Западу, неблагодарная к великому человеку, нас цивилизовавшему, к Европе, нас образовавшей, она отрекается и от Европы, и от великого человека: и в своей торопливой пылкости этот новорожденный патриотизм уже провозглашает нас любимыми сынами Востока. <...> Теперь вы понимаете, откуда собралась гроза, меня поразившая, и вы видите, что среди нас совершается в национальной мысли истинная революция, страстная реакция против просвещения, против идей Запада, против этого просвещения, этих идей, которые сделали нас тем, что мы есть теперь, плод которых даже эта реакция, это движение, влекущее нас теперь против них. <...> Куда нас приведет это первое проявление эмансипированного разума нации, Бог знает, но нельзя, серьезно любя свое отечество, не быть болезненно пораженному этим отступничеством наших передовых умов от идей, создавших нашу славу, наше величие.

<...> Мы находимся на Востоке Европы - это бесспорно; но все-таки мы никогда не составляли части Востока. У Востока есть своя история, не имеющая ничего общего с историей нашей страны. <...> Эта идея ставит духовное начало на вершине общества; она покорила все власти одному закону – верховному,

ненарушимому закону времен; она глубоко постигла нравственную иерархию; и хотя стеснила жизнь слишком тесными пределами, но зато сохранила ее от всякого внешнего влияния и запечатлела чудной глубиной. Ничего подобного нет у нас. Духовный принцип, всегда подчиненный у нас светскому принципу, никогда не стоял во главе общества; закон времен, предание никогда не имело у нас исключительного владычества; жизнь никогда не была у нас построена неизменяемым образом; наконец, нравственной иерархии мы никогда не знали. Мы просто народ северной страны; по нашим идеям мы так же далеки, как и по климату от ароматной долины Кашмира и священных берегов Ганга.

<...> Дело в том, что мы никогда еще не рассматривали нашей истории с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего народного существования не было охарактеризовано с точностью, ни одна из наших великих эпох не была добросовестно оценена: отсюда все странные фантазии, все утопии прошедшего, все сновидения невозможной будущности, мучающие ныне наших патриотов. Пятьдесят лет тому назад немецкие ученые открыли наших летописцев; потом Карамзин звучным слогом рассказал подвиги и деяния наших государей; в наше время посредственные писатели, неловкие антиквари, неудавшиеся поэты, не обладая ни наукой немцев, ни талантом знаменитого историка, претендуют изобразить или реставрировать времена и нравы, воспоминания о которых и любви к которым никто между нами не сохранил: таков перечень наших трудов по национальной истории. Надобно признаться, что из всего этого невозможно извлечь серьезного предсказания об ожидающих нас судьбах. А в этом теперь и заключается вся важность, именно эти результаты и составляют ныне весь интерес исторических исследований.

<...> Я сказал только, и теперь повторяю, что пора бросить ясный взгляд на наше прошедшее, и не для того, чтобы выкапывать из него старую, гнилую ветошь, старые идеи, пожранные временем, старые антипатии, давно отринутые здравым смыслом наших государей и нации, а для того, чтобы знать, что нам, наконец, думать о наследии нашего прошедшего.

<...> Больше, нежели кто-нибудь из нас, верьте мне, люблю я свое отечество, горжусь его славой, умею ценить высокие достоинства моего народа; но правда и то, что патриотическое чувство, меня оживляющее, не совершенно одинаково с тем, крики которого разрушили спокойствие моей жизни и снова ринули в океан житейских бедствий мою ладью, разбившуюся у подножия креста. Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. <...> Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня его любить. <...> Скажу больше: я имею задушевное убеждение, что мы призваны к решению большей части задач общественного порядка, к завершению большей части идей, возникших в старых обществах, к произнесению приговора по важнейшим из вопросов, которые занимают человечество.

<...> Не знаю, может быть, лучше было бы нам пройти все испытания, перенесенные другими христианскими народами, подобно им почерпая в испытаниях новые силы, новую энергию, новые методы; и, быть может, изолированное положение предохранило бы нас от бедствий, сопровождавших долгое и трудное воспитание этих народов; но теперь уже не об этом идет вопрос, можно заботиться только о том, чтобы верно понять настоящий характер нации, как он создан самою природою вещей и наивыгоднейшим образом воспользоваться его качествами. История уже не наша, это правда, но нам принадлежит наука: не можем мы переиначивать все работы человеческого разума, но мы можем участвовать в его дальнейших трудах: прошедшее не в нашей власти, но будущность наша.

<...> Спрашиваю теперь: ничтожна ли будущность, предоставляемая мною моей родине? Как вы думаете, бесславна ли судьба, мною для нее призываемая? А между тем эта великая ожидающая ее будущность, эта прекрасная судьба, ей предназначенная, без сомнения, будет только результатом той особенной натуры русского народа, которая в первый раз была выказана в моей несчастной статье. Правда, было преувеличение в моем обвинительном акте, я спешу это сказать и радуюсь тому, что должен сделать

это признание, – было преувеличение в моем обвинительном акте против великого народа, вся вина которого в сущности ограничивалась тем, что он жил за пределами всех цивилизаций, далеко от стран, где естественным образом должно было сосредоточиваться Просвещение, далеко от центров, из которых оно проливалось в течение стольких веков; да, было преувеличение. <...> Наконец было, быть может, преувеличение в том, чтобы хотя на одну минуту печалиться о судьбе народа, из недр которого рождались могущественная натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина. <...>

Конечно, здесь не место рассматривать вопросы, представляющиеся Чаадаеву в его апологии, и доказывать правильность или неправильность решения, какое он дает им. <...> Притом не развивать перед читателем наши собственные взгляды на вопросы, занимающие Чаадаева, обязаны мы здесь, а только объяснить характер и основания его взглядов.

Прежде всего мы должны вспомнить о состоянии русской истории в 20-х годах, потому что идеи Чаадаева во многом зависят от того вида, в котором представляется история русской нации. Разработка ее только что начиналась или, вернее сказать, даже и не начиналась в эпоху, когда слагался образ мыслей Чаадаева. Человек умный, он видел совершенную нескладницу и пустоту во всем том, что рассказывали ему о русской истории Карамзин и другие писатели риторического направления, которых одних мы имели; кроме того, были компиляторы, усердно пересказывавшие все без разбора факты в том самом виде, как рассказаны они летописями. Летописи наши совершенно бессвязны, чужды всякого соображения. <...> Разумеется, умному человеку должно было показаться, что во всех событиях и переменах жизни русского народа нет ни связи, ни смысла. Мы вовсе не говорим, чтобы такое впечатление соответствовало истине. Теперь русская история несколько разработана, хотя еще очень плохо, но все-таки хоть несколько разработана, и мы видим, что в ее развитии была связь, был некоторый смысл, – хороший или дурной, это все равно, но был смысл.

<...> Ему [Чаадаеву] казалось, что Петр Великий нашел свою страну листом белой бумаги, на котором можно написать что угодно. К сожалению, нет. Были уже написаны на этом листе слова, и в уме самого Петра Великого были написаны те же слова, и он только еще раз повторил их на исписанном листе более крупным шрифтом. Эти слова не «Запад» и не «Европа», как думал Чаадаев; звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. <...> Это звуки восточных народов, живущих среди широких степей и необозримых тундр. Петр Великий застал нас с таким характером, какой недавно имели персияне. <...> Дело только в том, что пока русская история до Петра оставалась предметом бессмысленных компиляций или нестерпимых декламаций, не было понятно и значение реформы Петра Великого. Он жил уже не во времена наивных летописцев и мог сделаться только предметом риторических упражнений. Пока не разработали источников, а это было уже после молодости Чаадаева, не могли различить даже того факта, что целью деятельности Петра было создание сильной военной державы.

<...> Могут сказать: но ведь все равно, если целью Петра было и просто создание сильной военной державы, а не перенесение европейской цивилизации в Россию, – все равно, результат был тот же самый: перенесение к нам западной цивилизации. Нет, не все равно, и результат был не тот. Целью дела определяется дух его, а результат зависит от духа, в каком ведется дело. При видимом сходстве действий результаты их различны, если цели их различны. <...> Результатом деятельности Петра Великого было то, что мы, получив хорошее регулярное войско, стали сильною военною державою, а не то, чтобы мы изменились в каком-нибудь другом отношении.

Петра Великого иные порицают за то, что он ввел к нам западные учреждения, изменившие нашу жизнь. Нет, жизнь наша ни в чем не изменилась от него, кроме военной стороны своей, и никакие учреждения, им введенные, кроме военных, не оказали на нас никакого нового влияния. Имена должностей изменились, а должности остались с прежними атрибутами и продолжали отправляться по прежнему способу. Губернатор был тот же воевода, коллегии

были теми же приказами. Бороды сбрили, немецкое платье надели, но остались при тех же самых понятиях, какие были при бородах и старинном платье. <...> Напрасно думают, что реформа Петра Великого изменяла в чем-нибудь состояние русской нации. Она только изменяла положение русского царя в кругу европейских государей. Прежде он не имел в их советах сильного голоса, теперь получил его благодаря хорошему войску, созданному Петром.

<...> У самого Петра Великого все важные для общественной жизни понятия и все принципы действия были совершенно русские понятия и принципы времен Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. От своих противников он отличался не характером идей, а только тем, что он понимал надобность, а они не понимали надобности устроить войско по немецкому образцу. <...> Он был истинно русским человеком, не изменившим ни одному из важных в общественной жизни понятий и привычек, господствовавших у нас во время его детства и юношества. Чтобы убедиться в этом, надобно только обратить внимание на то, как он действует. Способ его действия чисто национальный, без малейшей примеси западного характера.

<...> Все это мы говорили к тому, чтобы понять возникновение суждения Чаадаева о нашем нынешнем характере и положении. Если принимать, что до Петра Великого мы не имели истории, не сформировался наш характер; если принимать также, что целью деятельности Петра Великого было вложить в нас западную цивилизацию, что такова же была цель его продолжателей, то натурально будет представляться чем-то диким, нелепым наше нынешнее положение. Мы готовы были сделаться чем угодно, потому что еще ничем не были; нас полтора столетия учили сделаться европейцами, и все-таки мы до сих пор очень плохие европейцы, – это действительно очень странно. Если посылки справедливы, то вывод из них, представляемый средою, в которой мы живем, очень неутешителен: он противоречит ожиданию, какое возбуждается посылками. <...> Если так, поневоле впадешь в отчаяние, поневоле скажешь: наша нация – очень дрянная нация. Это и сказал Чаадаев своим письмом, бывшим причиною его несчастной знаменитости.

Но дело в том, что посылки, на которых он основывался, несправедливы. У нас была история, был резко и твердо выработавшийся характер в начале XVIII века, а в следующее время сделать нас европейцами никто не хотел, что ж тут нелепого или удивительного, если мы до сих пор плохие европейцы? Переучиваться, переформировываться гораздо труднее, нежели просто учиться и формироваться; сильнейшее влияние было направлено к тому, чтобы мы не переформировывались и не переучивались, – вот мы и остались в сущности такими же, как были в начале XVIII века.

<...> Но одна крайность вызывает другую: именно из недовольства нашим нынешним развитием, из отчаяния, наводимого характером нашего общества, рождаются мечты о каком-то исключительном нашем положении и призвании в будущем. Читая напечатанное в «Телескопе» письмо Чаадаева, надобно было предполагать, что он разделяет эти экзальтированные надежды: если бы он не был проникнут ими, не говорил бы он так горько о нашем настоящем. Но в напечатанном письме он не успел изложить этой стороны своего взгляда. Она составляет новую и, быть может, интереснейшую часть записки, которую мы теперь печатаем. Чаадаев полагает, что мы призваны вести человечество к новым судьбам, что у нас больше сил, чем у других народов, что силы эти свежее, что мы скорее и легче других народов поймем и осуществим те новые блага, которые еще не вошли в жизнь Запада, которых он без нашей помощи не может уразуметь и достичь. Словом сказать, что если мы были и еще некоторое, очень недолгое, время, всего, быть может, несколько лет, останемся учениками Запада, то очень скоро, быть может, даже еще в наше поколение, мы станем его учителями и руководителями. Эта мечта распространена у нас чрезвычайно. Не только славянофилы, над которыми подсмеиваются западники за нее, считают ее положительною истиною, если присмотреться хорошенько к самим западникам, то окажется, что подобное чувство лежит в основе даже их убеждений. <...> По крайней мере, мы до сих пор не встречали ни одного западника, который бы не оказывался в сущности славянофилом, если признаком славянофильства считать утопию

о предназначении нашем быть руководителями человечества в дальнейшем прогрессе.

<...> Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться. Основное наше понятие, упорнейшее наше предание – то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами: первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам – простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно. От этой одной привычки, созданной долгими веками, нам отрешиться едва ли не потруднее, чем западным народам от всех своих привычек и понятий.

<...> Говорят: нам легко воспользоваться уроками западной истории. Но ведь пользоваться уроком может только тот, кто понимает его, кто достаточно приготовлен, довольно просвещен. Когда мы будем так же просвещены, как западные народы, только тогда мы будем в состоянии пользоваться их историею, хотя в той слабой степени, в какой пользуются ею сами они. Просвещаться народу – дело долгое и трудное.

<...> Но, говорят нам, авангард уже растратил или ввел в дело все свои силы; на Западе уже не остается элементов, не участвовавших в истории, таких элементов, которые могли бы придать ей новый вид. Это также совершенное заблуждение. Была на Западе история аристократического сословия; только недавно стало руководить историею среднее сословие и далеко еще не овладело ею всею, далеко еще не выказало всех своих сил, не переделало всего, что хочет и должно переделать. Да, есть вещь, которая действительно умирает на Западе; эта вещь – феодализм и олигархическое господство. Но силы среднего сословия все еще развиваются, и много, очень много улучшений в западной жизни произведет даже один этот элемент.

<...>

Бакунин М.А.

Государственность и анархия

Интернациональное общество рабочих, едва зародившееся тому назад девять лет, уже успело достигнуть такого влияния на практическое развитие вопросов экономических, социальных и политических в целой Европе, что ни один публицист и ни один государственный человек не могут отныне отказать ему в самом серьезном и нередко тревожном внимании. Официальный, официозный и вообще буржуазный мир, мир счастливых эксплуататоров чернорабочего труда смотрит на него с тем внутренним трепетом, который ощущается при приближении еще неведомой и мало определенной, но уже сильно грозящей опасности, как на чудовище, которое непременно поглотит весь общественный, государственно-экономический строй, если только рядом энергических мер, приведенных в исполнение одновременно во всех странах Европы, не будет положен конец его быстрым успехам.

Известно, что по окончании последней войны, сломившей историческое преобладание государственной Франции в Европе и заместившей его еще более ненавистным и гибельным преобладанием государственного пангерманизма,

мероприятия против Интернационала сделались любимой темой межправительственных переговоров. Явление чрезвычайно естественное. Государства, по существу своему друг другу противные и до конца непримиримые, не могли и не могут найти другой почвы для соединения, как только в дружном поработании народных масс, составляющих общую основу и цель их существования. Князь Бисмарк, разумеется, был и останется главным возбудителем и двигателем этого нового Священного союза. Но не он первый выступил со своими предложениями на сцену. Он предоставил сомнительную честь подобной инициативы униженному правительству только что разгромленного им французского государства.

<...> В Италии гонение против Интернационала было поднято с трех разных сторон; во-первых, проклял его, как и следовало ожидать, сам папа. Сделал он это самым оригинальным образом, смешав в одном общем проклятии всех членов Интернационала с франкмасонами, с якобинцами, с рационалистами, деистами и либеральными католиками.

<...> Но не один римско-католический папа проклял Интернациональное общество рабочих. Знаменитый революционер *Джузеппе Маццини*, известный гораздо более в России как итальянский патриот, заговорщик и агитатор, чем как метафизик-деист и основатель новой церкви в Италии, да, сам Маццини в 1871 году, на другой день после поражения Парижской Коммуны, в то самое время как зверские исполнители зверских версальских декретов расстреливали тысячами обезоруженных коммунаров, нашел полезным и нужным присоединить к римско-католической анафеме и к полицейско-государственному гонению также и свое, якобы патриотическое и революционное, в сущности же совершенно буржуазное и вместе с тем богословское проклятие. Он надеялся, что его слова будет достаточно, чтобы убить в Италии все симпатии к Парижской Коммуне и задушить в зародыше только что возникавшие интернациональные секции.

<...> В Италии существует огромный, от природы чрезвычайно умный, но большею частью безграмотный и поголовно нищенский пролетариат,

состоящий из двух-трех миллионов городских и фабричных рабочих и мелких ремесленников и около двадцати миллионов крестьян-несобственников.

<...> В Италии весь народ ожидает социального переворота и всякий день сознательно стремится к нему. Можно тебе представить, как широко, как искренно и как страстно была принята и принимается поныне итальянским пролетариатом программа Интернационала. В Италии не существует, как во многих других странах Европы, особого рабочего слоя, уже отчасти привилегированного благодаря значительному заработку, хвастающегося даже в некоторой степени литературным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением. <...> В Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором гг. Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов Германии отзываются с глубочайшим презрением, и совершенно напрасно, потому что в нем, и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы, заключается и весь ум, и вся сила будущей социальной революции.

<...> Германия в настоящем своем виде, объединенная гениальным и патристическим мошенничеством [В политике, равно как и в высших финансовых сферах, мошенничество считается доблестью] князя Бисмарка и опирающаяся, с одной стороны, на примерную организацию и дисциплину своего войска, готового задушить и зарезать все на свете и совершить всевозможные внутренние и внешние преступления по одному мановению своего короля-императора; а с другой – на верноподданнический патриотизм, на национальное безграничное честолюбие и на то древнее историческое, столь же безграничное послушание и богопочитание власти, которыми отличаются поныне немецкое дворянство, немецкое мещанство, немецкая бюрократия, немецкая церковь, весь цех немецких ученых и под их соединенным влиянием нередко – увы! – и сам немецкий народ – Германия, говорю я, гордая деспотически-конституционным могуществом своего единодержавца

и властителя, представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения, а именно полюс государственности, государства, реакции.

<...> Побуждаемые естественным желанием снять с себя тяжкую ответственность за все мерзости, учиненные Священным союзом, немцы стараются уверить себя и других, что главным их зачинщиком была Россия. Не мы станем защищать императорскую Россию, потому что именно вследствие нашей глубокой любви к русскому народу, именно потому, что мы страстно желаем ему полнейшего преуспевания и свободы, мы ненавидим эту поганую всероссийскую империю так, как ни один немец ее ненавидеть не может. В противность немецким социальным демократам, программа которых ставит первую целью основание пангерманского государства, русские социальные революционеры стремятся, прежде всего, к совершенному разрушению нашего государства, убежденные в том, что пока государственность, в каком бы то виде ни было, будет тяготеть над нашим народом, народ этот будет нищим рабом. Итак, не из желания защищать политику петербургского кабинета, а ради истины, которая всегда и везде полезна, мы ответим немцам следующее.

В самом деле, императорская Россия, в лице двух венценосцев, Александра I и Николая, казалось, весьма деятельно вмешивалась во внутренние дела Европы: Александр рыскал с конца в конец и много хлопотал и шумел; Николай хмурился и грозил. Но тем все и кончилось. Они ничего не сделали, не потому, что не хотели, а потому, что не могли, оттого что им не позволили их же друзья, австрийские и прусские немцы; им предоставлена была лишь почетная роль пугал, действовали же только Австрия, Пруссия и, наконец, под руководством и с позволения той и другой – французские Бурбоны (против Испании).

Империя всероссийская только один раз выступила из своих границ, в 1849 году, и то только для спасения Австрийской империи, обуреваемой венгерским бунтом. В продолжение нынешнего века Россия два раза душила

польскую революцию и оба раза с помощью Пруссии, столько же заинтересованной в сохранении польского рабства, как и она сама. Я говорю, разумеется, об императорской России. Россия народная немыслима без польской независимости и свободы.

<...> Россия далеко не такая сильная держава, какую любит рисовать ее себе хвастливое воображение наших квасных патриотов, ребяческое воображение западных и юго-восточных панславистов, а также обезумевшее от старости и от испуга воображение рабствующих либералов Европы, готовых преклоняться перед всякою военною диктатурою, домашнею и чужою, лишь бы она их только избавила от ужасной опасности, грозящей им со стороны собственного пролетариата. Кто, не руководствуясь ни надеждою, ни страхом, смотрит трезво на настоящее положение петербургской империи, тот знает, что на западе и против запада она собственно инициативою, не будучи вызвана к тому какою-либо великою западною державою и не иначе как в самом тесном союзе с нею, никогда ничего не предпринимала и предпринять не может. Вся ее политика состояла искони только в том, чтобы примазаться как-нибудь к чужому начинанию; и со времени хищнического разделения Польши, задуманного, как известно, Фридрихом II, предлагавшим было Екатерине II разделить между собою точно так же и Швецию, Пруссия была именно тою западною державою, которая не переставала оказывать эту услугу всероссийской империи.

<...> Да, Берлин стал теперь видимою главою и столицею всей живой и действительной реакции в Европе, князь Бисмарк – ее главным руководителем и первым министром. Я говорю, реакции живой и действительной, а не отжившей. Отжившая или из ума выжившая реакция, по преимуществу римско-католическая, бродит еще как зловещая, но уже бессильная тень в Риме, в Версале, отчасти в Вене и в Брюсселе; другая, кнуто-петербургская, положим, хоть и не тень, но, тем не менее, лишенная смысла и будущности, продолжает еще бесчинствовать в пределах всероссийской империи. Но живая, умная, действительно сильная реакция сосредоточена отныне в Берлине

и распространяется на все страны Европы из новой Германской империи, управляемой государственным, а поэтому самому в высшей степени противународным гением князя Бисмарка.

Эта реакция не что иное, как окончательное осуществление противународной идеи новейшего государства, имеющего единою целью устройство самой широкой эксплуатации народного труда в пользу капитала, сосредоточенного в весьма немногих руках: значит, торжество жидовского царства, банкократии под могущественным покровительством фискально-бюрократической и полицейской власти, главным образом опирающейся на военную силу, а следовательно, по существу своему деспотической, но прикрывающейся вместе с тем парламентскою игрою мнимого конституционализма.

<...> Всякая эксплуатация народного труда, какими бы политическими формами мнимого народного господства и мнимой народной свободы она позолочена ни была, горька для народа. Значит, никакой народ, как бы от природы смирен ни был и как бы послушание властям ни обратилось в привычку, охотно ей подчиняться не захочет; для этого необходимо постоянное принуждение, насилие, значит, необходимы полицейский надзор и военная сила.

Новейшее государство по своему существу и цели есть необходимо военное государство, а военное государство с тою же необходимостью становится государством завоевательным; если же оно не завоевывает само, то оно будет завоевано по той простой причине, что где есть сила, там непременно должно быть и обнаружение или действие ее. Из этого, опять-таки, следует, что новейшее государство непременно должно быть огромным и могучим государством; это есть неперенное условие сохранения его.

И точно так же, как капитальное производство и банковая спекуляция, поглощающая в себе под конец даже это самое производство, точно так же, как они под страхом банкротства должны беспрестанно расширять пределы свои в ущерб поедаемым ими небольшим спекуляциям и производствам, должны

стремиться стать единственными, универсальными, всемирными; точно так же новейшее государство, по необходимости военное, носит в себе неотвратимое стремление стать государством всемирным; но всемирное государство, разумеется, неосуществимое, могло бы быть во всяком случае только одно; два такие государства, одно подле другого, решительно невозможны.

<...> Последние события доказали, что патриотизм, эта высшая *государственная* добродетель, эта душа государственной силы, совсем более не существует во Франции. В высших сословиях он проявляется разве только еще в виде национального тщеславия; но и это тщеславие уже так слабо, уже так подрезано в корне буржуазною необходимостью и привычкою жертвовать *интересам реальным* всеми *идеальными интересами*, что во время последней войны оно не могло даже, как делало прежде, превратить хоть на время в самоотверженных героев и патриотов лавочников, дельцов, биржевых спекуляторов, офицеров, генералов, бюрократов, капиталистов, собственников и иезуитами воспитанных дворян. Все трусили, все изменили, все бросились только спасать свое имущество, все пользовались несчастьем Франции, чтобы только интриговать против Франции. <...>

Несравненно важнее этого то, что ни одной капли патриотизма не оказалось даже в сельском населении Франции. Да, в противность общему ожиданию французский мужик, с тех пор как стал собственником, перестал быть патриотом. Во время Жанны д'Арк он на плечах своих один вынес Францию. В 1792 году и потом он отстоял ее против военной коалиции всей Европы. Ну, тогда было другое дело: благодаря дешевой продаже церковных и дворянских имений он становился собственником земли, которую обрабатывал прежде как раб, и справедливо опасался, что в случае поражения дворянская эмиграция, шедшая вслед за немецким войском, отберет у него назад только что приобретенную собственность; теперь же у него этого страха не было, и он совершенно равнодушно отнесся к постыдному поражению своего милого отечества.

<...> Французские работники были противниками войны, затеянной последним Наполеоном, и накануне этой войны они манифестом, подписанным парижскими членами Интернационала, громко заявили свое искреннее братское отношение к работникам Германии: и когда немецкие войска вступили во Францию, они стали вооружаться не против народа германского, а против германского военного деспотизма.

Война эта началась ровно шесть лет после первого основания Интернационального общества рабочих, только четыре года спустя после его первого конгресса в Женеве. И в такое короткое время интернациональная пропаганда успела возбудить не только в пролетариате французском, но также и между рабочими многих других стран, особливо латинского племени, мир представлений, воззрений и чувств совершенно новых и чрезвычайно широких, породила одну общую интернациональную страсть, поглотившую почти все предубеждения и узости страстей патриотических или местных.

Это новое мирозерцание высказалось торжественно уже в 1868 году на народном митинге и – где бы вы думали, в какой стране? – в Австрии, в Вене, в ответ на целый ряд политических и патриотических предложений, сделанных венским работникам сообща г-ми бюргерами-демократами южно-германскими и австрийскими и клонившихся к торжественному признанию и провозглашению пангерманского, единого и нераздельного отечества. К ужасу своему, они услышали следующий ответ: «Что вы толкуете нам о немецком отечестве? Мы работники, эксплуатируемые, вечно обманутые и утесненные вами, и все работники, к какой бы стране они ни принадлежали, эксплуатируемые и утесненные пролетарии целого мира – нам братья; все же буржуа, притеснители, правители, опекуны, эксплуататоры – нам враги. Интернациональный лагерь рабочих – вот наше единственное отечество; интернациональный мир эксплуататоров – вот чуждая и враждебная нам страна». И в доказательство искренности своих слов венские рабочие тут же послали поздравительную телеграмму «к парижским братьям как пионерам всемирно-рабочего освобождения».

<...> Как мы заметили выше, это сознание универсального характера социальной революции и солидарности пролетариата всех стран, так мало еще существующее между рабочими Англии, уже давно образовалось в среде французского пролетариата. Он знал уже в девяностых годах, что, борясь за свое равенство и за свою свободу, он освобождает все человечество.

Эти великие слова, употребляемые ныне нередко как фразы, но тогда искренно и глубоко прочувствованные, – свобода, равенство и братство всего человеческого рода – встречаются во всех революционных песнях того времени. Они легли в основание новой социальной веры и социально-революционной страсти французских работников, стали, так сказать, их природою и определили, даже помимо их сознания и воли, направление их мыслей, их стремлений и их предприятий. Всякий французский работник, когда делает революцию, вполне убежден, что делает ее не только для себя, но для целого мира, и несравненно больше для мира, чем для себя.

<...> Война на жизнь и на смерть! И не в одной только Франции, а в целой Европе, и война эта может кончиться только решительною победою одной из сторон, решительным низложением другой. Или буржуазно-образованный мир должен укротить и поработить бунтующую народную стихию, дабы силою штыков, кнута или палки, благословенных, разумеется, каким-нибудь Богом и объясненных разумно наукою, заставить чернорабочие массы работать по-прежнему, что ведет прямо к полнейшему восстановлению государства в его искреннейшей форме, которая одна возможна в настоящее время, т. е. в форме военной диктатуры или императорства; или же рабочие массы сбросят с себя окончательно ненавистное многовековое иго, разрушат в корне буржуазную эксплуатацию и основанную на ней буржуазную цивилизацию – а это значит торжество социальной революции, сокрушение всего, что называется государством.

Итак, государство, с одной стороны, социальная революция, с другой, – вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей

общественной жизни в целой Европе, но во Франции осязательнее, чем в какой-либо другой стране.

<...> В настоящее время серьезное, сильное государство может иметь только одно прочное основание – военную и бюрократическую централизацию. Между монархией и самой демократической республикой существует только одно существенное различие: в первой чиновный мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привилегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которою его будут бить, будет называться палкою народной.

<...> Значит, никакое государство, как бы демократичны ни были его формы, хотя бы самая красная *политическая* республика, народная только в смысле лжи, известной под именем народного правительства, не в силах дать народу того, что ему надо, т. е. вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, насилия сверху, потому что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо народное государство, задуманное г. Марксом, в сущности своей не представляет ничего иного, как управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и поэтому самому привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ.

<...> Народное восстание, по природе своей стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату и жертву собственности, своей и чужой. Народные массы на подобные жертвы всегда готовы; они потому и составляют грубую, дикую силу, способную к совершению подвигов и к осуществлению целей, по-видимому, невозможных, что, имея лишь очень мало или не имея вовсе собственности, они

не развращены ею. <...> Такое разрушение несовместно с буржуазным сознанием, с буржуазною цивилизацией, потому что она вся построена на фанатическом богопочитании собственности.

<...> Но и нищеты с отчаянием мало, чтобы возбудить Социальную Революцию. Они способны произвести личные или, много, местные бунты, но недостаточны, чтобы поднять целые народные массы. Для этого необходим еще общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освещенного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов, – нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетою, доводящею его до отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка, и никакая сила не может ей воспрепятствовать.

<...> Этот идеал представляет, разумеется, народу на первом плане конец нужды, конец нищеты и полное удовлетворение всех материальных потребностей посредством коллективного труда, для всех обязательного и для всех равного; потом – конец господам и всякому господству и вольное устройство народной жизни сообразно народным потребностям, не сверху вниз, как в государстве, но снизу вверх, самим народом, помимо всех правительств и парламентов, вольный союз земледельческих и фабричных рабочих товариществ, общин, областей и народов; и наконец, в более отдаленном будущем общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех государств.

Замечательно, что в Италии, равно как и в Испании, решительно не посчастливилось государственно-коммунистической программе Маркса, а напротив, приняли широко и страстно программу пресловутого Альянса, или Союза Социальных Революционеров, объявившую беспощадную войну всякому господству, правительственной опеке, начальству и авторитету.

<...> Мы столько же отъявленные враги *панславизма*, сколько и *пангерманизма* <...> считаем священной и неотлагаемою обязанностью для

русской революционной молодежи противодействовать всеми силами и всевозможными средствами панславистической пропаганде, производимой в России и главным образом в славянских землях правительственными официальными и вольнославянофильствующими или официальными русскими агентами; они стараются уверить несчастных славян, что петербургский славянский царь, проникнутый горячею отеческою любовью к славянским братьям, и подлая народоненавистная и народогубительная всероссийская империя, задушившая Малороссию и Польшу, а последнюю даже продала частью немцам, могут и хотят освободить славянские страны от немецкого ига.

<...> «Но, – ответят нам славянские государственники, – мы не хотим одного великого славянского государства, мы желаем только образования нескольких чисто славянских государств средней величины как необходимого залога для независимости славянских народов». Но это мнение противно логике и историческим фактам, силе вещей; никакое государство средней величины существовать самостоятельно теперь не может. Значит, или славянских государств не будет, или будет одно громадное и всепоглощающее государство панславистское, кнутовое, С.-Петербургское.

<...> Немцы ищут жизни и свободы в государстве; для славян же государство есть гроб. Славяне должны искать своего освобождения вне государства, не только в борьбе против немецкого государства, но во всенародном бунте против всякого государства, в Социальной Революции.

<...> Организовать народные силы для совершения такой революции – вот единственная задача людей, искренно желающих освобождения славянского племени из-под многолетнего ига. Эти передовые люди должны понять, что то самое, что в прошедшие времена составляло слабость славянских народов, а именно их неспособность образовать государство, в настоящее время составляет их силу, их право на будущность, дает смысл всем их настоящим народным движениям. Несмотря на громадное развитие новейших государств и вследствие этого окончательного развития, доведшего, впрочем, совершенно логически и с неотвратимою необходимостью самый принцип

государственности до абсурда, стало ясно, что дни государств и государственности сочтены и что приближаются времена полного освобождения чернорабочих масс и их вольной общественной организации снизу вверх, без всякого правительственного вмешательства из вольных экономических, народных союзов, помимо всех старых государственных границ и всех национальных различий, на одном основании производительного труда, совершенно очеловеченного и вполне солидарного при всем своем разнообразии.

<...> Во всех эпохах истории существует интерес общечеловеческий, преобладающий над всеми другими, более частными и исключительно народными интересами, и тот народ или те народы, которые находят в себе призвание, т. е. достаточно понимания, страсти и силы, чтоб предаться ему исключительно, становятся главным образом народами историческими. Интересы, преобладавшие таким образом в разные эпохи истории, были различны. Так чтобы не идти слишком далеко, был интерес не столько человеческий, сколько божеский, а потому и противный свободе и благоденствию народов, интерес преобладающий и в высшей степени завоевательный, католической веры и католической церкви, а те народы, которые тогда находили в себе наиболее склонности и способности предаться ему, – немцы, французы, испанцы, отчасти поляки, – были именно вследствие того каждый в своем кругу народами первенствующими.

<...> Великая революция, ознаменовавшая конец XVIII века, выдвинула опять на первое, на первенствующее место Францию. Она создала новый общечеловеческий интерес, идеал полнейшей человеческой свободы, но только на *исключительно политическом* поприще; идеал, заключавший неразрешимое противоречие, а потому и неосуществимый; политическая свобода без экономического равенства и вообще политическая свобода, т. е. свобода в государстве, есть ложь.

<...> Против этих народопритеснительных направлений государственных, республиканских и новомонархических, порожденных

великою буржуазною революцією 1789 и 1793 годов, из глубины самого пролетариата, сначала французского и австрийского, а потом и других стран Европы, выработалось наконец направление совершенно новое и прямо идущее к уничтожению всякого эксплуатировать и всякого политического или юридического, равно как и правительственно-административного притеснения, т. е. к уничтожению всех классов посредством экономического уравнивания всех состояний и к уничтожению их последней опоры, Государства.

Такова программа Социальной Революции.

<...>

Данилевский Н. Я.

Россия и Европа

Почему Европа враждебна России?

Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбленья

Тысячеглавой лжи газет,

Измены, зависти и страха порожденья.

Друзей у нашей Руси нет!

«Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» Да, ландкартное давление действительно существует, но где же оно на деле, чем и когда выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное развитие различных ее национальностей, и большого труда стоило ей освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков был повод к этим

вмешательствам? В 1799-м, в 1805-м, в 1807 годах сражалась русская армия с разным успехом не за русские, а за европейские интересы. Из-за этих же интересов, для нее, собственно, чуждых, навлекла она на себя грозу двенадцатого года; когда же смела с лица земли полумиллионную армию и этим одним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она не остановилась на этом, а вопреки своим выгодам – таково было в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской партии – два года боролась за Германию и Европу и, окончив борьбу низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщения Европы, как спасла Европу от угнетения Франции.

<...> Россия, не устают кричать на все лады, – колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана, какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем этом справедливого? Посмотрим сначала на завоевательность России. Конечно, Россия не мала, но большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного расселения, а не государственного завоевания. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область, столь же естественную, как, например, Франция, только в огромных размерах, – область, резко обозначенную со всех сторон (за некоторым исключением западной) морями и горами. <...> На всем этом пространстве не было никакого сформированного политического тела, когда русский народ стал постепенно выходить из племенных форм быта и принимать государственный строй. Вся страна была или пустыней, или заселена полудикими финскими племенами и кочевниками; следовательно, ничто не препятствовало свободному расселению русского народа, продолжавшемуся почти во все первое тысячелетие его истории при полном отсутствии исторических наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место. Никогда занятие народом предназначенного

ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснений от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял, если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях поправленных народностей. Он или занимал пустыри, или соединял с собою путем исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние зыряне, черемисы, мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как армяне и грузины.

<...> Раздел Польши считается во мнении Европы величайшим преступлением против народного права, совершенным в новейшие времена, и вся тяжесть его взваливается на Россию. И это мнение не газетных крикунов, не толпы, а мнение большинства передовых людей Европы. В чем же, однако, вина России? Западная ее половина во время татарского господства была покорена Литвой, вскоре обрусевшей, затем через посредство Литвы – сначала случайно (по брачному союзу), а потом насильственно (Люблинской унией) – присоединена к Польше. Восточная Русь никогда не мирилась с таким положением дел. Об этом свидетельствует непрерывный ряд войн, перевес в которых сначала принадлежал большею частью Польше, а со времени Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешел к России. При Алексее Михайловиче Россия не имела еще счастья принадлежать к политической системе европейских государств, и потому у ней были развязаны руки и она была единственным судьей в своих делах. В то время произошел первый раздел Польши. Россия, никого не спрашиваясь, взяла из своего что могла – Малороссию по левую сторону Днепра, Киев и Смоленск, – взяла бы и больше, если бы надежды на польскую корону не обманули царя и не заставили упустить благоприятное время. Раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия, мог бы совершиться уже тогда – с лишком за сто лет ранее,

чем он действительно совершился, и, конечно, с огромною для России пользою, ибо тогда не бродили еще гуманитарные идеи в русских головах; и край был бы закреплён за православием и русской народностью прежде, чем успели бы явиться на пагубу русскому делу Чарторыйские с их многочисленными последователями и сторонниками, процветающими под разными образами и видами даже до сего дня. Как бы то ни было, дело не было окончено, а едва только начато при Алексее, и раз упущенное благоприятное время возвратилось не ранее как через сто лет, при Екатерине II. Но почему же то, что было законно в половине XVII века, становится незаконным к концу XVIII? Самый повод к войне при Алексее одинаков – все то же утеснение православного населения, взывавшего о помощи к родной России. И если справедливо было возвратить Смоленск и Киев, то почему же было несправедливо возвратить не только Вильну, Подолию, Полоцк, Минск, но даже Галич, который, к несчастью, вовсе не был возвращен? А ведь в этом единственно и состоял раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия!

<...> В юго-западном углу России лежит Бессарабия, также недавнее приобретение. Здесь христианское православное население было исторгнуто из рук угнетавших его диких и грубых завоевателей, турок, – население, которое торжествовало это событие как избавление из плена. Если то было завоевание, то и Кир, освободив иудеев из плена вавилонского, был их завоевателем. Об этом и распространяться больше не стоит. Все южнорусские степи также были вырваны из рук турок. Степи эти принадлежат к русской равнине. Спокон века, еще со времен Святослава, боролись за них с ордами кочевников сначала русские князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же и с какого права занесло сюда турецкую власть, покровительствовавшую хищническим набегам? То же должно сказать и о Крымском полуострове, хотя и не принадлежавшем исстари к России, но послужившем убежищем не только ее непримиримым врагам, но врагам всякой гражданственности, которые делали из него набегии при всяком удобном случае, дожигали огнем и посекали мечом южные русские области до самой Москвы. Можно, пожалуй,

согласиться, что здесь было завоевано государство, лишена своей самостоятельности народность; но какое государство и какая народность? Если я назвал всякое вообще завоевание национальным убийством, то в этом случае это было такое убийство, которое допускается и Божескими и человеческими законами, – убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны и вместе в виде справедливой казни.

Остается еще Кавказ. Под этим многообъемлющим именем надобно отличать в рассматриваемом здесь отношении закавказские христианские области, закавказские магометанские области и кавказских горцев. Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I в начале своего царствования после долгих колебаний согласился, наконец, исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единой России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме тут не было завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. Прежде всего, это вовлекло Россию в двукратную борьбу с Персией, причем не Россия была зачинщицей. В течение этой борьбы ей удалось освободить некоторые христианские населения от двойного ига мелких владетельных ханов и персидского верховенства. С этим вместе были покорены магометанские ханства: Кубанское, Бакинское, Ширванское, Шекинское, Ганджинское и Талышенское, составляющие теперь столько же уездов, и Эриванская область. Назовем, пожалуй, это завоеваниями, хотя завоеванные через это только выиграли. Не столь довольны, правда, русским завоеванием кавказские горцы.

Здесь точно много погибло если не независимых государств, то независимых племен. После раздела Польши едва ли какое другое действие России возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление, как война с кавказскими горцами и особливо недавно совершившееся покорение Кавказа. Сколько ни стараются наши публицисты выставить это дело как великую победу, одержанную общечеловеческою цивилизацией, – ничто не помогает. Не любит Европа, чтобы Россия бралась за это дело.

<...> О Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большею частью это было занятие пустопорожного места, совершенное (как показывает история) казацкой удалью и расселением русского народа почти без содействия государства. Разве еще к числу русских завоеваний причислим Амурский край, никем не заселенный, куда всякое переселение было даже запрещено китайским правительством, неизвестно почему и для чего считавшим его своею собственностью?

<...> Итак, состав Русского государства, войны, которое оно вело, цели, которые преследовало, а еще более – благоприятные обстоятельства, столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало воспользоваться, – все показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная держава <...> Откуда же и за что же, спрашиваю, недоверие, несправедливость, ненависть к России со стороны правительств и общественного мнения Европы?

Обращаюсь к другому капитальному обвинению против России. Россия – гасительница света и свободы, темная, мрачная сила, политический Ариман, как выразился я выше. <...> Посмотрим, чем же его заслужила Россия, чем так провинилась перед Европой? До времен Французской революции о таком вмешательстве, о таком давлении и речи быть не могло, потому что между континентом Европы и Россией не существовало тогда никакой видимой разности в политических принципах. Напротив того, правление Екатерины по справедливости считалось одним из самых передовых, прогрессивных, как

теперь говорится. Под конец своего царствования Екатерина имела, правда, намерение вооружиться против революции, что наследник ее и сделал. Но если Французская революция должна считаться светильником свободы, то гасить и заливать этот светильник спешила вся Европа, и впереди всех – конституционная и свободная Англия. Участие России в этом общем деле было кратковременно и незначительно. Победам Суворова, впрочем, рукоплескала тогда вся Европа. Войны против Наполеона не были, конечно, да и не считались войнами против свободы. Эти войны окончились, и ежели побежденная Франция тогда же получила свободную форму правления, то была обязана этим единственно императору Александру. Во время войны за независимость многие государства обещали своим подданным конституции, и никто не сдержал своих обещаний, кроме опять-таки императора Александра относительно Польши.

После Венского конгресса, по мысли русского императора, Россия, Австрия и Пруссия заключили так называемый Священный союз, приступить к которому приглашали всех государей Европы. Этот Священный союз составляет главнейшее обвинение против России и выставляется заговором государей против своих народов. Но в этом союзе надо строго отличать идею, первоначальный замысел, которые одни только и принадлежали Александру, от практического выполнения, которое составляет неотъемлемую собственность Меттерниха. В первоначальной же идее, каковы бы ни были ее практические достоинства, конечно, не было ничего утеснительного. Император Александр стоял, бесспорно, за конституционный принцип везде, где, по его мнению, народное развитие допускало его применение.

<...> Дело в том, что Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д., – материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему, как прежде было надеялась, как особенно надеялись немцы,

которые, несмотря на препрославленный космополитизм, только от единой спасительной германской цивилизации чают спасения мира. Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. <...> Итак, во что бы то ни стало, не крестом, так пестом, не мытьем, так катаньем, надо не дать этому ядру еще более окрепнуть и разрастись, пустить корни и ветви вглубь и вширь.

<...> Для этой несправедливости, для этой неприязненности Европы к России <...>, сколько бы мы ни искали, мы не найдем причины в тех или других поступках России; вообще не найдем объяснения и ответа, основанного на фактах. Тут даже нет ничего сознательного, в чем бы Европа могла дать себе самой беспристрастный отчет. Причина явления лежит глубже. Она лежит в неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий их (помимо, хотя и не против их воли и сознания) к неведомой для них цели; ибо в общих, главных очертаниях история слагается не по произволу человеческого, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры.

<...> Это-то бессознательное чувство, этот-то исторический инстинкт и заставляет Европу не любить Россию. Куда девается тут беспристрастие взгляда, которым не обделена, однако же, и Европа, и особенно Германия, когда дело идет о чуждых народностях? Все самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения, и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу цивилизации. <...> Русский в глазах их может претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой национальный облик.

<...>

Европа или Россия?

<...> Итак, принадлежит ли Россия к Европе? Я уже ответил на этот вопрос. Как угодно, пожалуй – принадлежит, пожалуй – не принадлежит, пожалуй – принадлежит отчасти и притом насколько кому желательно. В сущности же, в рассматриваемом теперь смысле и Европы вовсе никакой нет,

а есть западный полуостров Азии, вначале менее резко от нее отличающийся, чем другие азиатские полуострова, а к окончности постепенно все более и более дробящийся и расчленяющийся.

Неужели же, однако, громкое слово «Европа» – слово без определенного значения, пустой звук без определенного смысла? О, конечно, нет! Смысл его очень полновесен только он не географический, а культурно-исторический, и в вопросе о принадлежности или непринадлежности к Европе география не имеет ни малейшего значения. Что же такое Европа в этом культурно-историческом смысле? Ответ на это – самый определенный и положительный. Европа есть поприще германо-романской цивилизации, ни более ни менее; или, по употребительному метафорическому способу выражения, Европа есть сама германо-романская цивилизация. Оба эти слова – синонимы. Но германо-романская ли только цивилизация совпадает с значением слова *Европа*? Не переводится ли оно точнее «общечеловеческой цивилизацией» или, по крайней мере, ее цветом?

Не на той же ли европейской почве возрастали цивилизации греческая и римская? Нет, поприще этих цивилизаций было иное.

<...> В культурно-историческом смысле то, что для германо-романской цивилизации – Европа, тем для цивилизации греческой и римской был весь бассейн Средиземного моря; и, хотя есть страны, которые общи им обеим, несправедливо было бы, однако же, думать, что Европа составляет поприще человеческой цивилизации вообще или, по крайней мере, всей лучшей части ее; она есть только поприще великой германо-романской цивилизации, ее синоним, и только со времени развития этой цивилизации слово «Европа» получило тот смысл и значение, в котором теперь употребляется.

Принадлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью – нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного Древнего мира, не питалась и теми корнями, которые почерпали

пищу из глубины германского духа. <...> Не знала Россия и гнета, а также и воспитательного действия схоластики и не вырабатывала той свободы мысли, которая создала новую науку, не жила теми идеалами, которые воплотились в германо-романской форме искусства. Одним словом она не причастна ни европейскому добру, ни европейскому злу; как же может она принадлежать к Европе?

<...> Но если Россия, скажут нам, не принадлежит к Европе по праву рождения, она принадлежит к ней по праву усыновления; она усвоила себе (или должна стараться усвоить) то, что выработала Европа; она сделалась (или, по крайней мере, должна сделаться) участницей в ее трудах, в ее триумфах. Кто же ее усыновил? Мы что-то не видим родительских чувств Европы в ее отношениях к России; но дело не в этом, а в том – возможно ли вообще такое усыновление? <...> Мы увидим, может быть, насколько и в какой форме возможно это усвоение чужого, а пока пусть будет так; если не по рождению, то по усыновлению Россия сделалась Европой; к дичку привит европейский черенок. Какую пользу приносит прививка, тоже увидим после, но на время признаем превращение. В таком случае, конечно, девизом нашим должно быть: *Europaeus sum et nihil, europaei a me alienum esse puto* [я европеец, и ничто европейское мне не чуждо (лат.)]. Все европейские интересы должны сделаться и русскими.

<...> Какую же роль предоставляет нам Европа на всемирно-историческом театре? Быть носителем и распространителем европейской цивилизации на Востоке – вот она та возвышенная роль, которая досталась нам в удел, роль, в которой родная Европа будет нам сочувствовать, содействовать своими благословениями, всеми пожеланиями души своей, будет рукоплескать нашим цивилизаторским деяниям, к великому услаждению и умилению наших гуманитарных прогрессистов. С Богом – отправляйтесь на Восток! Но позвольте, на какой же это Восток? Мы было и думали начать с Турции. Чего же лучше? Там живут наши братья по плоти и по духу, живут в муках и страданиях и ждут избавления; мы подадим им руку помощи, как нам

священный долг повелевает. Куда? Не в свое дело не соваться! – кричит Европа. Это не ваш Восток, и так уже много развелось всякой славянщины, которая мне не по нутру. Сюда направляется благородный немецкий Drang nach dem Osten [*натиск на Восток (нем.)*] по немецкой реке Дунаю. Немцы кое-где умели справиться со славянами, они и здесь получше вашего их объевропеизируют. <...> Принялись мы также за Кавказ – тоже ведь Восток. Очень маменька гневаться изволили: не трогайте, кричала, рыцарей, паладинов свободы; вам ли браться за такое благородное племя; ну да на этот раз, слава богу, не послушали, забыли свое европейское призвание. Ну так в Персии нельзя ли позаняться разбрасыванием семян цивилизации и европеизма? Немцы, пожалуй, и позволили бы: они так далеко своего «дранга» не думают, кажется, простирать; но ведь дело известное – рука руку моет: из уважения к англичанам нельзя. Индию они уже на себя взяли; что и говорить, отлично дело сделают, первого сорта цивилизаторы, на том уже стоят. Нечего их тут по соседству тревожить, отправляйтесь дальше. В Китай, что ли, прикажете? Ни-ни, вовсе незачем туда забираться; чаю надо? – кантонского сколько хотите привезем. Цивилизация, европеизация, как и всякое учительство, недаром ведь делается; и гонорарии кое-какие получают. Китай – страна богатая, есть чем заплатить, сами поучим. <...> Да где же, господи, наш-то Восток, который нам на роду написано цивилизовать? Средняя Азия – вот ваше место; всяк сверчок знай свой шесток. Нам ни с какого боку туда не пробраться, да и пожива плохая. Ну так там и есть ваша священная историческая миссия – вот что говорит Европа, а за нею и наши европейцы. Вот та великая роль, которую сообразно с интересами Европы нам предоставит; и – никакой больше <...>.

Тысячу лет строиться, обливаясь потом и кровью, и составить государство в восемьдесят миллионов (из коих шестьдесят – одного роду и племени, чему, кроме Китая, мир не представлял и не представляет другого примера) для того, чтобы потчевать европейской цивилизацией пять или шесть миллионов кокандских, бухарских и хивинских оборванцев, да, пожалуй, еще два-три миллиона монгольских кочевников, – ибо таков настоящий смысл

громкой фразы о распространении цивилизации в глубь Азиатского материка. Вот то великое назначение, та всемирно-историческая роль, которая предстоит России как носительнице европейского просвещения. Нечего сказать, завидная роль, – стоило из-за этого жить, царство строить, государственную тяготу нести, выносить крепостную долю, Петровскую реформу, бироновщину и прочие эксперименты.

<...> Итак, при нашей уступке, что Россия если не прирожденная, то усыновленная Европа, мы приходим к тому заключению, что она не только гигантски лишний, громадный исторический плеоназм, но даже положительное, весьма трудно преодолимое препятствие к развитию и распространению настоящей общечеловеческой, т. е. европейской, или германо-романской, цивилизации. Этого взгляда, собственно, и держится Европа относительно России. Этот взгляд, выраженный здесь только в несколько резкой форме, в сущности, очень распространен и между корифеями нашего общественного мнения и их просвещенными последователями.

<...> Если Русь в смысле самобытного славянского государства есть препятствие делу европеизма и гуманитарности и если нельзя притом, к сожалению, обратить ее в *tabula rasa* для скорейшего развития на ее месте истинной европейской культуры, *pur sang* [чистокровная (фр.)], то что же остается делать, как не ослаблять то народное начало, которое дает силу и крепость этому общественному и политическому организму? Это жертва на священный алтарь Европы и человечества.

<...> В нашей литературе с лишком тридцать лет тому назад появилась журнальная статья покойного Чаадаева, которая в свое время наделала много шума. В ней выражалось горькое сожаление о том, что Россия вследствие особенностей своей истории была лишена тех начал (как, например, католицизма), из развития которых Европа сделалась тем, что она есть. Соболезнуя об этом, автор отчаивается в будущем своего отечества, не видя и не понимая ничего вне европеизма.

Статья эта имела на своей стороне огромное преимущество внутренней искренности. В сущности, то же горькое сознание лежит и в основе нашего новейшего, чисто внешнего политического патриотизма; он только менее искренен сам с собой, менее последователен, надеется собирать там, где не сеял. Если, в самом деле, европеизм заключает в себе все живое, что только есть в человечестве, столь же всесторонен, как и оно, в сущности, тождествен с ним; если все, что не подходит под его формулу, – ложь и гниль, предназначенные на ничтожество и погибель, как все неразумное, то не надобно ли скорей покончить со всем, что держится на иной почве своими корнями? <...> Не скорее ли, в самом деле, проникнется европеизмом, очеловечится вся Русь, когда ее окраины примут европейский склад, благо в них есть уже европейские дрожжи, которые – только не мешайте им – скоро приведут эти окраины в благодетельное брожение. Это брожение не преминет передаться остальной массе и разложить все, что в ней есть варварского, азиатского, восточного; одно чисто западное останется. <...> Если Русь есть Русь, то, конечно, смешно говорить о русской партии в этой Руси. Но если Русь есть вместе с тем и Европа, то почему же не быть в ней русской, и европейской, и ультрарусской, и ультраевропейской партии? Отчего же, однако, нет чего-либо подобного в других государствах, отчего не может быть, например, ультрафранцузской партии во Франции? Оттого, что Франция есть вместе с тем и настоящая Европа, что существенного противоречия между интересами Франции и интересами Европы быть не может, как и не может его быть (в нормальном положении вещей, по крайней мере) между целым и его частью.

<...> Если же наперекор истории, наперекор мнению и желанию самой Европы, наперекор внутреннему сознанию и стремлениям своего народа Россия все-таки захочет причислиться к Европе, то ей, чтобы быть логической и последовательной, ничего другого не остается, как отказаться от самого политического патриотизма, от мысли о крепости, цельности и единстве своего государственного организма, от обрусения своих окраин, ибо эта твердость наружной скорлупы составляет только препятствие к европеизации России.

Европа, не признающая (как и естественно) другого культурного начала, кроме германо-романской цивилизации, так и смотрит на это дело.

<...> Где же искать примирения между русским народным чувством и признаваемыми разумом требованиями человеческого преуспевания или прогресса? Неужели в славянофильской мечте, в так называемом учении об особой русской, или всеславянской, цивилизации, над которым все так долго глумились, над которым продолжают глумиться и теперь, хотя уже и не все? Разве Европой не выработано окончательной формы человеческой культуры, которую остается только распространять по лицу земли, чтоб осчастливить все племена и народы? Разве не пройдены все переходные фазисы развития общечеловеческой жизни и поток всемирно-исторического прогресса, столько раз скрывавшийся в подземные пропасти и низвергавшийся водопадами, не вступил, наконец, в правильное русло, которым остается ему течь до скончания веков, напоая все народы и поколения, увлажняя и оплодотворяя все страны земли? Несмотря на всю странность такого взгляда, который в подтверждение свое не может найти решительно ничего аналогического в природе (где все имеющее начало имеет и конец, все исчерпывает, наконец, свое содержание), таков, однако же, исторический догмат, в который верует огромное большинство современного образованного человечества.

<...> Теперь поняли, что политические формы, выработанные одним народом, собственно только для одного этого народа и годятся, но не соглашаются распространить эту мысль и на прочие отправления общественного организма. Кроме только что упомянутого мной личного чувства, требующего нескончаемости, есть еще причины, по которым мысль о возможности возникновения иной цивилизации, кроме европейской, или германо-романской, кажется более чем странной огромному большинству образованных людей не только в самой Европе, но и между славянами. Причины эти заключаются, по моему мнению, главнейше в неверном понимании самых общих начал хода исторического процесса, – в неясном, так сказать туманном, представлении исторического явления, известного под

именем прогресса, в неправильном понятии, которое обыкновенно составляют себе об отношении национального к общечеловеческому, и еще в одном предрассудочном понятии о характере того, что называется Западом и Востоком, – понятии, принимаемом за аксиому и потому не подвергаемом критике. <...>

Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческою?

Запад и Восток, Европа и Азия представляются нашему уму какими-то противоположностями, полярностями. Запад, Европа составляют полюс прогресса, неустанного усовершенствования, непрерывного движения вперед; Восток, Азия – полюс застоя и коснения, столь ненавистных современному человеку. Это историко-географические аксиомы, в которых никто не сомневается, и всякого русского правоверного последователя современной науки дрожь пробирает при мысли о возможности быть причисленным к сфере застоя и коснения. <...> И все это – совершеннейший вздор, до того поверхностный, что даже опровергать совестно. Я только что говорил о том, что деление на части света есть деление искусственное, что единственный критерий его составляет противоположность между сушей и морем, не объемлющая собою всех других различий, представляемых физическою природой (различий топографических, климатических, ботанических, зоологических, этнографических и пр.), критерий, не обращающий даже на них внимания, что по одному этому уже, следовательно, части света не представляют и не могут представлять свойств, которые одну из них ставили бы в противоположность другой, что выражения: *европейский, азиатский, африканский тип* суть только метафоры, которыми мы приписываем целому свойства его части.

<...> Дело в том, что во всех частях света есть страны очень способные, менее способные и вовсе не способные к гражданскому развитию человеческих обществ, что европейский полуостров в этом отношении весьма хорошо

наделен, хотя не обделена и остальная Азия, которая *абсолютно* имеет больше годных для культуры стран, чем ее западный полуостров, и только в смысле *относительном* (ко всему пространству) должна ему уступить. Везде же, где только гражданственность и культура могли развиваться, они имели тот же прогрессивный характер, как и в Европе. Возьмем самый тип застоя и коснения – Китай, выставляемый как наисильнейший контраст прогрессивной Европе. В этой стране живет около 400 миллионов народа в гражданском благоустройстве. Если бы имелись точные цифры о количестве производительности китайского труда, то перед ними, может быть, побледнели бы цифры английской и американской промышленности и торговли, хотя китайская торговля почти вся внутренняя. Многие отрасли китайской промышленности находятся до сих пор на недостижимой для европейских мануфактур степени совершенства, как, например, краски, окрашивание тканей, фарфор, многие шелковые материи, лаковые изделия и т. д. Китайское земледелие занимает, бесспорно, первое место на земном шаре. По словам Либиха, это единственное рациональное земледелие, ибо только оно одно возвращает почве все, что извлекается из нее жатвами, не прибегая притом ко ввозу удобрений из-за границы, что также должно, без сомнения, считаться земледельческим хищением. <...> Во многих отношениях китайская жизнь удобствами не уступает европейской, особливо если сравнить ее не с настоящим временем, а хоть с первой четвертью нынешнего столетия. Порох, книгопечатание, компас, писчая бумага давно уже известны китайцам и, вероятно, даже от них занесены в Европу. Китайцы имеют громадную литературу, своеобразную философию, весьма, правда, несовершенную в космологическом отношении, но представляющую здравую и возвышенную для языческого народа систему этики. Когда на древних греков кометы наводили еще суеверный страх, китайские астрономы, говорит Гумбольдт, наблюдали уже научным образом эти небесные тела. Науки и знания нигде в мире не пользуются таким высоким уважением и влиянием, как в Китае. Неужели же эта высокая степень гражданского, промышленного и в некотором

отношении даже научного развития, которое во многом оставляет далеко за собою цивилизацию древних греков и римлян, в ином даже и теперь может служить образцом для европейцев, – вышла во всеоружии из головы первого китайца, как Минерва из головы Юпитера, а все остальные четыре или пять тысяч лет своего существования этот народ переживал старое и не подвигался вперед? Не были ли эти успехи, добытые на крайнем востоке Азиатского материка, таким же результатом постепенно накапливавшегося умственного и физического, самостоятельного и своеобразного труда поколений, как и на крайнем его западе – на европейском полуострове? И что же это такое, как не прогресс?

<...> Прогресс, следовательно, не составляет исключительной привилегии Запада, или Европы, а застой – исключительного клейма Востока, или Азии; тот и другой суть только характеристические признаки того возраста, в котором находится народ, где бы он ни жил, где бы ни развивалась его гражданственность, к какому бы племени он ни принадлежал. Следовательно, если бы и в самом деле Азия и Европа, Восток и Запад составляли самостоятельные, резко определенные целые, то и тогда принадлежность к Востоку и Азии не могла бы считаться какой-то печатью отвержения.

Вторая и важнейшая причина, по которой отвергается мысль о какой-либо самостоятельной цивилизации вне германо-романских, или европейских, форм культуры, принимаемых за общечеловеческие, выработанные всей предыдущей историей, заключается, сказал я, в неправильном понимании самых общих начал исторического процесса и в неясном, туманном представлении об историческом явлении, называемом прогрессом.

<...> Перехожу теперь к оценке общепринятой системы в науке всемирной истории.

Самая общая группировка всех исторических явлений и фактов состоит в распределении их на периоды древней, средней и новой истории. Насколько же удовлетворяет это деление вышеизложенным требованиям естественной

слоя темы? Основанием отделения древней истории от средней и новой принято падение Западной Римской империи. В новейших исторических сочинениях, конечно, дело не представляется уж так, чтобы с 476 годом на исторической сцене упал занавес, вслед за чем имеет начаться новая пьеса; но самая сущность мало выигрывает от этого улучшения в изложении. Как бы медленно и постепенно занавес ни спускался и как бы по мере этого спускания ни вплеталась новая пьеса своею интригою в старую, вопрос в том: достаточно ли велик занавес, чтобы перегородить собою всю сцену, и можно ли найти какой-либо другой, который был бы для этого достаточно велик? Какое дело Китаю, какое дело Индии до падения Западной Римской империи? Даже для соседних заевфратских стран – не гораздо ли важнее было падение Парфянского и возникновение Сасанидского царства, чем падение Западной Римской империи? Пала ли бы или не пала эта империя, не одинаково ли бы произошел имевший такие огромные последствия религиозный переворот в Аравии? <...> Не менее очевидно, что это происходит не оттого, что принцип был дурно выбран (выбран был наивозможно лучший), но оттого, что вообще нет такого события, которое могло бы разделить судьбу всего человечества на какие бы то ни было отделы; ибо до сих пор, собственно говоря, не было ни одного одновременного общечеловеческого события, да, вероятно, никогда и не будет. Даже само христианство – явление, имевшее до сих пор самое огромное влияние на судьбы человечества и которое должно со временем обнять его вполне, – становится историческою гранью судеб каждого народа в различное время. Если принять христианство за главную историческую грань, то история Рима, имеющая своим предметом жизнь одного и того же народа, была бы расколота на две части, между тем как вторая есть, очевидно, дальнейшее развитие первой – ее результат, который не мог далее быть существенным образом изменен внесением в римскую жизнь христианской идеи, уже не могшей возбудить изжившиеся начала ее.

Итак, деление истории на древнюю (с одной стороны), и среднюю и новую (с другой стороны) точно так же не удовлетворяет первому

требованию естественной системы, как деление растений на явнотрачные и тайнотрачные или животных на позвоночных и беспозвоночных, совершенно независимо от того, какие бы события мы ни приняли за исторические грани. И действительно, древняя история есть настоящее линнеевское тайнотрачие, куда (подобно тому, как гриб соединен с папоротником, потому что они цветов не имеют) вкомканы греки с египтянами и китайцами потому только, что жили до падения Западной Римской империи.

Не лучше выполнено и второе требование, чтоб явления одной группы имели между собою более сродства, чем с явлениями, отнесенными к другой группе. Неужели в самом деле история Греции и Рима имеет более аналогии и связи с историей Египта и даже с историей Индии и Китая, чем с историей новейшей Европы? Весьма позволительно в этом усомниться. Но вся неверность, вся уродливость системы всемирной истории открывается самым разительным образом по отношению к третьему требованию: чтобы степень сродства была одинакова в одноименных группах, т. е. в группах того же порядка. Между тем как в группе древней истории соединены Египет, Индия, Китай, Вавилон и Ассирия, Иран, Греция, Рим, которые все проходили через различные ступени развития, мы видим, что ступени развития одного и того же племени германо-романского отнесены в различные группы – в так называемые среднюю и новую истории, которые очевидно представляют одну и ту же группу явлений, ибо новая история есть только или развитие заложенного в Средние века, или его отрицание и отвержение, совершаемое в той же самой среде, так что много было исторических деятелей, которые, начав свою деятельность в средней истории, заканчивали ее новой. Между тем как не только Катон и император Константин, Перикл и Феодосий Великий, но даже император Фоки, фараон Рамзес и царь Соломон соединены в одну группу с Эпаминондом и Гракхами, мы видим, что какой-нибудь Рудольф Габсбургский – с императором Максимилианом, Филипп Красивый – с Людовиком XI и Ришелье и даже султан Баязид – с султаном Сулейманом, которые делали одно и то же дело, тем же плугом ту же борозду проводили,

разнесены в разные века истории, так сказать, в разные возрасты человечества. Не совершенно ли это же самое, что соединять ворону с устрицей, потому что ни у той ни у другой четырех ног нет?

<...> Собственно говоря, и Рим, и Греция, и Индия, и Египет, и все исторические племена имели свою древнюю, свою среднюю и свою новую историю, то есть как все органическое имели свои фазисы развития, хотя, конечно, нет никакой надобности, чтоб их насчитывалось непременно три – ни более ни менее. Как в развитии человека можно различать или три возраста (несовершеннолетие, совершеннолетие и старость – деление, принимаемое, например, для некоторых гражданских целей), или четыре (детство, юность, возмужалость, старость), или даже семь (младенчество, отрочество, юность, молодость, или первая пора зрелости, возмужалость, старость и дряхлость), так же точно можно отличать и различное число периодов развития в жизни исторических племен, что будет зависеть отчасти от взгляда историка, отчасти же от самого характера их развития, могущего подвергаться более или менее частным переменам. Так и история Европы имеет настоящую, свою собственную, не основанную на перспективном обмане древнюю историю – во временах, предшествовавших Карлу Великому, когда выделялись и образовывались из нестройного хаоса, последовавшего за переселением народов, новые народности и государства, представлявшие пока еще только зародыш тех начал, разработка и развитие которых составит главное содержание средних, отрицание же и отвержение – главное содержание новых веков.

<...> Без подобного же различения – степеней развития от типов развития – невозможна и естественная группировка исторических явлений. Отсутствие этого различения и составляет тот коренной недостаток исторической системы, о котором только что было говорено. Деление истории на древнюю, среднюю и новую, хотя бы и с прибавлением древнейшей и новейшей, или вообще деление по степеням развития не исчерпывает всего богатого содержания ее. <...> Поэтому, собственно говоря, только внутри одного и того же типа, или, как

говорится, цивилизации, и можно отличать те формы исторического движения, которые обозначаются словами: древняя, средняя и новая история. Это деление есть только подчиненное, главное же должно состоять в отличении культурно-исторических типов, так сказать, самостоятельных, своеобразных планов религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, художественного одним словом, исторического развития.

<...> Эти культурно-исторические типы, или самобытные цивилизации, расположенные в хронологическом порядке, суть: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилонско-финикийский, халдейский, или древнесемитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) новосемитический, или арабийский, и 10) германо-романский, или европейский. К ним можно еще, пожалуй, причислить два американских типа: мексиканский и перуанский, погибшие насильственной смертью и не успевшие совершить своего развития. Только народы, составлявшие эти культурно-исторические типы, были положительными деятелями в истории человечества; каждый развивал самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые они были поставлены, и этим вносил свой вклад в общую сокровищницу. Между ними должно отличать типы уединенные от типов или цивилизаций преемственных, плоды деятельности которых передавались от одного другому, как материалы для питания или как удобрение (то есть обогащение разными усвояемыми, ассимилируемыми веществами) той почвы, на которой должен был развиваться последующий тип. Таковыми преемственными типами были: египетский, ассирийско-вавилонско-финикийский, греческий, римский, еврейский и германо-романский, или европейский. Так как ни один из культурно-исторических типов не одарен привилегией бесконечного прогресса и так как каждый народ изживается, то понятно, что результаты, достигнутые последовательными трудами этих пяти или шести цивилизаций, своевременно сменявших одна другую и получивших к тому же сверхъестественный дар христианства, должны были далеко

превзойти совершенно уединенные цивилизации, каковы китайская и индийская, хотя бы эти последние и одни равнялись всем им продолжительностью жизни. Вот, мне кажется, самое простое и естественное объяснение западного прогресса и восточного застоя. Однако же и эти уединенные культурно-исторические типы развивали такие стороны жизни, которые не были в той же мере свойственны их более счастливым соперникам, и тем содействовали многосторонности проявлений человеческого духа, в чем, собственно, и заключается прогресс. Не говоря о тех открытиях и изобретениях, которые (как, например, десятичная система циферных знаков, компас, шелководство, а может быть, порох и гравюра) перенесены в Европу с Востока через посредство арабов, разве индийская поэзия и архитектура не должны считаться обогащением общечеловеческого искусства? Гумбольдт замечает во второй части «Космоса», что открытия индийских ученых в алгебре могли бы составить обогащение европейской науки, если бы сделались известны несколько ранее. Но в другой области знания европейская наука действительно много обязана индийской, именно: понятие о корнях, играющее столь важную роль в лингвистике, было выработано индийскими грамматиками. Китайское земледелие составляет до сих пор высочайшую степень, до которой достигало это полезнейшее из искусств.

Но и эти культурно-исторические типы, которые мы называли положительными деятелями в истории человечества, не исчерпывают еще всего круга ее явлений. <...> Кроме положительно-деятельных культурных типов, или самобытных цивилизаций, есть еще временно появляющиеся феномены, смущающие современников, как гунны, монголы, турки, которые, совершив свой разрушительный подвиг, помогши испустить дух борющимся со смертью цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в прежнее ничтожество. Назовем их отрицательными деятелями человечества. Иногда, впрочем, и зиждительная и разрушительная роль достается тому же племени, как это было с германцами и аравитянами. Наконец, есть племена, которым (потому ли, что самобытность их прекращается в чрезвычайно ранний период их развития, или по другим причинам) не суждено ни зиждительного, ни разрушительного

величия, ни положительной, ни отрицательной исторической роли. Они составляют лишь этнографический материал, т. е. как бы неорганическое вещество, входящее в состав исторических организмов – культурно-исторических типов; они, без сомнения, увеличивают собою разнообразие и богатство их, но сами не достигают до исторической индивидуальности. Таковы племена финские и многие другие, имеющие еще меньше значения.

<...> Итак, или положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа, или разрушительная деятельность так называемых бичей Божьих, предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или служение чужим целям в качестве этнографического материала – вот три роли, которые могут выпасть на долю народа.

<...>

Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения и развития

Начну прямо с изложения некоторых общих выводов, или законов, исторического развития, вытекающих из группировки его явлений по культурно-историческим типам.

Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, довольно близких между собою, – для того чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, – составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества.

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью.

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций.

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему государств.

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения – относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу.

<...> Более подробного рассмотрения и разъяснения требует третий закон культурно-исторического развития. История Древнейших культурно-исторических типов – Египта, Китая, Индии, Ирана, Ассирии и Вавилона – слишком мало известна в своих подробностях, чтобы можно было подвергнуть наше положение критике самих событий из истории этих цивилизаций, но сами результаты этой истории вполне его подтверждают. Не видно, чтобы у какого-либо народа неегипетского происхождения принялась египетская культура; индийская цивилизация ограничилась народами, которые говорили языками санскритского корня. К древнесемитическому культурному типу принадлежали, правда, финикияне и карфагеняне, но первые были народом того же корня с вавилонянами, а последние – колонией финикиян; цивилизация же Карфагена не передавалась нумидянам и другим аборигенам Африки. Китайская цивилизация распространена между китайцами и японцами – первоначально, вероятно, переселенцами из Китая же. Евреи не передали своей культуры ни одному из окружающих или одновременно живших с ними народов.

С Грецией вступаем в область более известную. Греция, столь богатая своей цивилизацией, была, однако же, слишком бедна политической силой, чтобы думать о распространении эллинизма между другими народами, пока македоняне – народ эллинского же происхождения или эллинизированный еще

в ранний этнографический период своей жизни – не приняли от нее цивилизации и не сообщили ей политической силы. Представитель эллинизма – Александр – взялся не только покорить Восток, но и распространить в нем греческую цивилизацию, которая, по господствующим теперь теориям, должна была считаться общечеловеческою в четвертом веке до Рождества Христова. За эту возвышенно-гуманитарную цель Александровых завоеваний ему прощаются его завоевательные замыслы, и он принимает в глазах истории размеры героя человечества. На деле же эти цивилизаторские замыслы оказались гораздо неосуществимее его завоевательных планов, которые, по крайней мере, удались на время. <...> В Александрии образовались библиотеки, музей, академии, процветала философия и положительная наука. Но кто были философы, кто ученые, на каком языке писали они? Все – природные греки, и все – по-гречески. Собственно Египту от всего этого было, что называется, ни тепло, ни холодно. Ученая Александрия была греческою колонией. Птоломеи щедрою рукою покровительствовали греческим ученым, доставляли им все средства для полезной деятельности, и греки стекались сюда со всех сторон. При обильных вспомогательных средствах результаты их деятельности вышли, вероятно, гораздо плодотворнее, нежели могли быть в том случае, если бы греки оставались при своих частных средствах, каждый в своем городке во время смут, раздиравших падавшую и разлагавшуюся Грецию; и нельзя не поблагодарить Птоломеев за их просвещенную щедрость, которая принесла большую пользу греческой науке; но греческая цивилизация от этого несколько не передалась Египту, как и вообще Востоку. И теперь англичане завели очень много весьма деятельных и полезных ученых обществ в Калькутте, но еще несколько не передали Индии европейской цивилизации. Передать цивилизацию какому-либо народу – очевидно, значит заставить этот народ до того усвоить себе все культурные элементы (религиозные, бытовые, социальные, политические, научные и художественные), чтоб он совершенно проникнулся ими и мог продолжать действовать в духе передавшего их с некоторым, по крайней мере, успехом, так чтобы хотя отчасти стать в уровень с передавшим, быть его соперником и вместе продолжателем его направления.

<...> Неужели же историческая деятельность, результаты, достигнутые жизнью одного культурно-исторического типа, остаются совершенно бесплодными для всех остальных ему современных или последующих типов? Неужели должны типы эти оставаться столь же чужды один другому, как, например, Китай для остального мира? Конечно, нет. Выше было уже замечено, что преемственные культурно-исторические типы имеют естественное преимущество перед уединенными. Каким же образом происходит это преемство?

<...> Самый простейший способ этого распространения есть пересадка с одного места на другое посредством колонизации. Таким образом финикияне передали свою цивилизацию Карфагену, греки – Южной Италии и Сицилии, англичане – Северной Америке и Австралии. Если бы где-либо и когда-либо существовала общечеловеческая цивилизация, то, очевидно, должно было бы желать в ее интересах, чтоб этот способ распространения был повсеместно употреблен, т. е. чтобы других народов, кроме выработавших эту общечеловеческую цивилизацию, вовсе не было, – точно как, как, например, в интересах земледелия весьма было бы желательно, чтобы никаких сорных трав на свете не было; и, пожалуй, как позволительно земледельцу всеми мерами их уничтожать, так было бы позволительно распространителям единой общечеловеческой цивилизации – уничтожать прочие народы, служащие более или менее тому препятствием. Ибо, без сомнения, те, которые выработали цивилизацию в наичистейшем виде, способны ее сохранить и распространить ее по лицу земли, что было бы самым прямым, легчайшим и действительнейшим методом осуществления прогресса. Если же такая метода, не раз, впрочем, с успехом употребленная в Америке и других местах, показалась бы слишком радикальной, то, во всяком случае, следовало бы народы и государства, не принадлежащие к общечеловеческому культурному типу, лишать силы противодействия, т. е. политической самобытности (хотя бы то было посредством пушек или опиума, – как говорится: не мытьем, так катаньем), дабы обратить их со временем в подчиненный, служебный для высших целей этнографический элемент, мягкий, как воск и глина,

и принимающий без сопротивления все формы, которые ему заблагорассудят дать.

Другая форма распространения цивилизации есть прививка, и обыкновенно это и разумеют под передачей цивилизации. <...> Но в этом таинственном, так сказать волшебном, смысле прививки нет ни между растениями, ни между культурно-историческими типами, как тому представлено было довольно примеров. <...> Надо быть глубоко убежденным в негодности самого дерева, чтобы решаться на подобную операцию, обращающую его в средство для чужой цели, лишаящую его возможности приносить цветы и плоды *suī generis* [своеобразный (лат.)], надо быть твердо уверенным, что из этих цветов и плодов ничего хорошего в своем роде выйти не может.

<...> Наконец, есть еще способ воздействия цивилизации на цивилизацию. Это тот способ, которым Египет и Финикия действовали на Грецию, Греция – на Рим (поскольку это последнее действие было полезно и плодотворно), Рим и Греция – на германо-романскую Европу. Это есть действие, которое мы уподобим влиянию почвенного удобрения на растительный организм, или, что то же самое, влиянию улучшенного питания на организм животный. За организмом оставляется его специфическая образовательная деятельность; только материал, из которого он должен возводить свое органическое здание, доставляется в большем количестве и в улучшенном качестве, и результаты выходят великолепные; притом всякий раз – результаты своего рода, вносящие разнообразие в область всечеловеческого развития, а не составляющие бесполезного повторения старого, как это неминуемо должно произойти там, где один культурно-исторический тип приносится в жертву другому посредством прививки, требующей к тому же для своего успеха частого обрезывания ветвей, все продолжающих расти из первобытного ствола, несмотря на прививку. Только при таком свободном отношении народов одного типа к результатам деятельности другого, когда первый сохраняет свое политическое и общественное устройство, свой быт и нравы, свои религиозные воззрения, свой склад мысли и чувств как единственно ему свойственные – одним словом, сохраняет всю свою

самобытность, – может быть истинно плодотворно воздействие завершенной или более развитой цивилизации на вновь возникающую. Под такими условиями народы иного культурного типа могут и должны знакомиться с результатами чужого опыта, принимая и прикладывая к себе из него то, что, так сказать, стоит вне сферы народности, т. е. выводы и методы положительной науки, технические приемы и усовершенствования искусств и промышленности. Все же остальное, в особенности все относящееся до познания человека и общества, а тем более до практического применения этого познания, вовсе не может быть предметом заимствования, а может быть только принимаемо к сведению – как один из элементов сравнения – по одной уже той причине, что при разрешении этого рода задач чуждая цивилизация не могла иметь в виду чуждых ей общественных начал и что, следовательно, решение их было только частное, только ее одну более или менее удовлетворяющее, а не общеприменимое.

Четвертый общий вывод, сделанный на основании группировки исторических явлений по культурно-историческим типам, говорит нам, что цивилизация, т. е. раскрытие начал, лежащих в особенностях духовной природы народов, составляющих культурно-исторический тип, под влиянием своеобразных внешних условий, которым они подвергаются в течение своей жизни, тем разнообразнее и богаче, чем разнообразнее, независимее составные элементы, т. е. народности, входящие в образование типа. Самые богатые, самые полные цивилизации из всех, доселе на земле существовавших, принадлежат, конечно, мирам греческому и европейскому.

<...> При этом сам собою рождается вопрос: где же проходит настоящая граничная черта между требованиями национальной самобытности, обеспечивающей свободное выражение всех особенностей направления и разнообразие в жизненных проявлениях культурно-исторического типа, так сказать, его внутреннюю независимость, и между требованиями национального единства, обеспечивающего политическую силу и независимость внешнюю? Черта эта, кажется мне, проведена весьма ясно самою природою. Народ, говорящий языком, коего отдельные наречия и говоры столь близки между собою, что в практической жизни, общественной, торговой, политической,

не представляют затруднения к взаимному пониманию, должен составлять и одно политическое целое. Так народ русский, несмотря на различие в наречиях великорусском, малорусском и белорусском, или народ немецкий, несмотря на более сильное различие в наречиях верхне- и нижненемецком, должны составлять самостоятельные однородные политические целые, называемые государствами. Напротив того, для целых народов, говорящих на отдельных языках, принадлежащих к одному лингвистическому семейству, соответствующему самобытному культурно-историческому типу, должна предпочитаться слиянию в одно государственное целое, лишаящее культурную жизнь разнообразия, – менее тесная связь, которая, смотря по обстоятельствам, требующим более или менее тесного между ними соединения, может проявляться или в виде правильной федерации, основанной на положительном законодательстве, или даже только в виде политической системы (какова, например, европейская, основанная на случайных трактатах, частое повторение которых вследствие тесных сношений образовало род обычного международного права).

То же самое относится и к Европе в ее настоящих и естественных границах – как к культурно-исторической единице, объемлющей собою романо-германский мир. Выражение «европейский интерес» не есть пустое выражение для француза, немца или англичанина, а имеет смысл, каждому из них понятный, независимо от интересов Англии, Германии или Франции, которые, будучи здраво поняты, не могут и противоречить более общим интересам Европы. Это, однако же, совершенно извращается, если нарушены истинные границы культурно-исторического типа.

Но что же такое интерес человечества? Кем признаваем он, кроме одного Бога, которому, следовательно, только и принадлежит ведение его дел? Без сомнения, в интересах человечества лежало, чтобы Рим был разрушен и на месте его цивилизации временно воцарилось варварство; но, конечно, ни один римлянин и ни один германец не знал и не мог знать, что этого требовал интерес человечества; каждый же из них если не понимал, то по крайней мере, чувствовал, чего требовал интерес того племени, к которому он принадлежал. Не могло ли даже казаться, что интересы человечества требовали, чтобы

германцы спокойно оставались в своих лесах и не тревожили своими нападениями вместилища тогдашней всемирной цивилизации и тогдашнего прогресса? Нечего сказать, большую услугу оказал бы человечеству какой-нибудь древнегерманский мудрец или вождь, который, будучи убежден в этой гуманитарной мысли, имел бы достаточно влияния, дабы убедить своих соотечественников в таком, сообразном с интересами человечества образе действий. <...> Таким образом, если та группа, которой мы придаем название культурно-исторического типа, и не есть абсолютно высшая, то она, во всяком случае, высшая из всех тех, интересы которых могут быть сознательными для человека, и составляет, следовательно, последний предел, до которого может и должно простираться подчинение низших интересов высшим, пожертвование частных целей общим.

<...> Пятый закон культурно-исторического движения состоит в том, что период цивилизации каждого типа сравнительно очень короток, истощает силы его и вторично не возвращается. Под периодом цивилизации разумею я время, в течение которого народы, составляющие тип, – вышедшие из бессознательной, чисто этнографической формы быта (что, собственно, должно бы соответствовать так называемой древней истории), создав, укрепив и оградив свое внешнее существование как самобытных политических единиц (что, собственно, составляет содержание всякой средней истории), – проявляют преимущественно свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть залогов в их духовной природе не только в отношении науки и искусства, но и в практическом осуществлении своих идеалов правды, свободы, общественного благоустройства и личного благосостояния. Оканчивается же этот период тем временем, когда иссякает творческая деятельность в народах известного типа: они или успокаиваются на достигнутом ими, считая завет старины вечным идеалом для будущего, и дряхлеют в *апатии самодовольства* (как, например, Китай), или достигают до неразрешимых с их точки зрения антиномий, противоречий, доказывающих, что их идеал (как, впрочем, и все человеческое) был неполон, односторонен, ошибочен или что неблагоприятные внешние обстоятельства отклонили его развитие от прямого пути, – в этом случае наступает разочарование и народы

впадают в *апатию отчаяния*. Так было в римском мире во время распространения христианства. Впрочем, пример Византии показывает, что эта вторая форма не может быть продолжительна и переходит в первую, если после иссякновения нравственного принципа жизни народы не сметаются внешними бурями, не обращаются снова в первобытную этнографическую форму быта, из коего снова может возникнуть историческая жизнь. Период цивилизации может считаться для римского мира с окончания Пунических войн и покорения Греции до третьего века по Р. Х., т. е. около 400 лет. Для Греции от начала пятого века до Р. Х. и до окончания плодотворной деятельности александрийской школы тоже в третьем веке, т. е. около 6 столетий; но с уничтожением самобытности Греции цивилизация эта ограничивалась одною сферою науки, наиболее отвлеченной и могущей всего долее сохранять свою жизненность по оторвании от родной почвы. Время цивилизации индийской также продолжается не долее нескольких столетий. Для евреев его можно считать от времен Самуила до времен Ездры и последних пророков, т. е. от 5 до 6 столетий.

Если период цивилизации бывает относительно так краток, то зато предшествующее ему время – и особливо древний, или этнографический, период, начинающийся с самого момента выделения культурно-исторического племени от сродственных с ним племен, – бывает чрезвычайно длинным.

<...> Если этнографический период есть время собирания, время заготовления запаса для будущей деятельности, то период цивилизации есть время растраты – растраты полезной, благотворной, составляющей цель самого собирания, но все-таки растраты; и как бы ни был богат запас сил, он не может наконец не оскудеть и не истощиться, тем более что во время возбужденной деятельности, порождающей цивилизацию и порождаемой ею, живетя скоро. Каждая особенность в направлении, образовавшаяся в течение этнографического периода, проявляясь в период цивилизации, должна непременно достигнуть своего предела, далее которого идти уже нельзя, или, по крайней мере, такого, откуда дальнейшее поступательное движение становится уже медленным и ограничивается одними частными приобретениями и усовершенствованиями. Тогда происходит застой в жизни,

прогресс останавливается, ибо бесконечное развитие, бесконечный прогресс в одном и том же направлении (а еще более - во всех направлениях разом) есть очевидная невозможность. Каким, в самом деле, образом возможно, чтобы существо ограниченное, как человек, могло бесконечно развиваться и совершенствоваться, не изменяясь в то же время в своей природе, т. е. не перестав, наконец, быть человеком? <...> Таким образом, усложнение, нераздельное с совершенствованием, кладет необходимый предел существенному прогрессу в той отрасли человеческого ведения (или вообще человеческой деятельности), на которую в течение долгого времени было обращено внимание, — в том направлении, на которое преимущественно употреблялись усилия. Дабы поступательное движение вообще не прекратилось в жизни всего человечества, необходимо, чтобы, дойдя в одном направлении до известной степени совершенства, началось оно с новой точки исхода и шло по другому пути, т. е. надо, чтобы вступили на поприще деятельности другие психические особенности, другой склад ума, чувств и воли, которыми обладают только народы другого культурно-исторического типа.

Прогресс, как мы сказали выше, состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях. Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она представляла высшую точку развития в сравнении с ее предшественницами или современницами во всех сторонах развития. Так в отношении идеи красоты греческий мир дошел, можно сказать, до крайнего предела совершенства, и новая европейская цивилизация не произвела ничего такого, что бы могло не только затмить, но даже сравняться с произведениями греческого пластического искусства, которое поэтому изучается наравне с природою, как самое полное и лучшее ее истолкование. Греческое искусство сделалось достоянием всего человечества, собственностью последующих цивилизаций, но именно только собственностью, т. е. тем, чем они могут пользоваться, наслаждаться, что они могут понимать, но не приобретать вновь, как приобрели его греки, а тем менее идти в том же направлении дальше. Потому народы

европейского культурного типа пошли по другому направлению, по пути аналитического изучения природы, и создали положительную науку, которой ничего подобного не представляет никакая другая цивилизация.

<...> Выше я старался показать, что правильная, сообразная с законами естественной системы группировка исторических явлений приводит нас к тому выводу, что до сих пор развитие человечества шло не иначе как через посредство самобытных культурно-исторических типов, соответствующих великим племенам, т. е. через посредство самобытных национальных групп; остается показать, что оно иначе идти и не может.

<...>

Отношение народного к общечеловеческому

$a+b>a$

Из любой алгебры

Отношение национального к общечеловеческому обыкновенно представляют себе как противоположность случайного – существенному, тесного и ограниченного – просторному и свободному, как ограду, пеленки, оболочку куколки, которые надо прорывать, чтобы выйти на свет Божий; как бы ряд обнесенных заборами двориков или клеток, окружающих обширную площадь, на которую можно выйти, лишь разломав перегородки. Общечеловеческим гением считается такой человек, который силою своего духа успевает вырваться из пут национальности и вывести себя и своих современников (в какой бы то ни было категории деятельности) в сферу общечеловеческого. Цивилизационный процесс развития народов заключается именно в постепенном отрешении от случайности и ограниченности национального для вступления в область существенности и всеобщности – общечеловеческого. Так и заслуга Петра Великого состояла именно в том, что он вывел нас из плена национальной ограниченности и ввел в свободу чад человечества, по крайней мере, указал путь к ней. Такое учение развилось у нас в тридцатых и в сороковых годах, до литературного погрома 1848 года. Главными его представителями и поборниками были Белинский

и Грановский; последователями – так называемые западники, к числу которых принадлежали, впрочем, почти все мыслившие и даже просто образованные люди того времени; органами – «Отечественные записки» и «Современник»; источниками – германская философия и французский социализм; единственными противниками – малочисленные славянофилы, стоявшие особняком и возбуждавшие всеобщий смех и глумление. Такое направление было очень понятно. Под национальным разумелось не национальное вообще, а специально русское национальное, которое было так бедно, ничтожно, особенно если смотреть на него с чужой точки зрения; а как же было не стать на эту чужую точку зрения людям, черпавшим поневоле все образование из чужого источника? Нужны были смелость, независимость и прозорливость мысли в более нежели обыкновенной степени, чтобы под бедным нищенским покровом России и славянства видеть сокрытые самобытные сокровища, чтобы сказать России:

Былое в сердце воскреси

И в нем сокрытого глубоко

Ты духа жизни допроси!

Под общечеловеческим же разумели то, что так широко развивалось на Западе, в противоположность узконациональному русскому, т. е. германо-романское, или европейское.

<...> Что значила бы цивилизация, которая соединила бы в себе (если бы даже это было возможно и совместимо) все стороны в отдельности, проявленные доселе разными культурно-историческими типами, – соединила бы совершенство положительной науки, достигнутое цивилизацией Европы; полное развитие и осуществление идеи изящного, как во времена греков; живое религиозное чувство и сознание евреев или первых веков христианства; богатство фантазии Индии, прозаическое стремление к практически полезному Китая, государственное величие Рима и т. д., – довела бы еще это все до высшей степени развития с прибавлением идеально совершенного общественного строя? Какой удовлетворительный смысл имел бы этот несколько веков или хотя бы и тысячелетий продолжающийся золотой век в сравнении со всеми прежде истекшими тысячелетиями?

<...> Применим теперь все сказанное в этой и в двух предыдущих главах к отношениям России или, лучше сказать, всего славянства (которого Россия служит только представителем) к Европе.

Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем. Культурно-исторические типы соответствуют великим лингвистико-этнографическим семействам, или племенам, человеческого рода. Семь таких племен, или семейств народов, принадлежат к арийской расе. Пять из них выработали более или менее полные и совершенно самостоятельные цивилизации; шестое – кельтское, лишенное политической самостоятельности еще в этнографический период своего развития, не составило самобытного культурно-исторического типа, не имело свойственной ему цивилизации, а обратилось в этнографический материал для римского, а потом, вместе с его разрушенными остатками, для европейского культурно-исторического типа и произведенных ими цивилизаций. Славянское племя составляет седьмое из этих арийских семейств народов. Наиболее значительная часть славян (не менее, если не более, двух третей) составляет политически независимое целое – великое Русское царство. Остальные славяне хотя не составляют самостоятельных политических единиц, но выдержали все пронесшиеся над ними бури, и ныне еще продолжающие бушевать: немецкую, мадыарскую и турецкую, не потеряв своей самобытности, сохранив язык, нравы и (в значительной части) принятую ими вначале форму христианства – православие. Частнонародное и общеславянское сознание пробудилось как у турецких, так и у австрийских славян, и надобны лишь благоприятные обстоятельства, чтобы доставить им политическую самобытность. Вся историческая аналогия говорит, следовательно, что и славяне, подобно своим старшим на пути развития арийским братьям, могут и должны образовать свою

самобытную цивилизацию, что славянство есть термин одного порядка с эллинизмом, латинством, европеизмом, – такой же культурно-исторический тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Булгария должны бы иметь тот же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению к Европе, какой имели Афины, Спарта, Фивы по отношению к Греции. Далее, всемирно-исторический опыт говорит нам, что ежели славянство не будет иметь этого высокого смысла, то оно не будет иметь никакого, – что вся тысячелетняя этнографическая подготовка, вся многовековая народно-государственная жизнь и борьба, все политическое могущество, достигнутое столькими жертвами одного из славянских народов, есть только мыльный пузырь, форма без содержания, бесцельное существование, убитый морозом росток; ибо цивилизация не передается (в едином истинном и плодотворном значении этого слова) от народов одного культурного типа народам другого. Ежели они по внешним или внутренним причинам не в состоянии выработать самобытной цивилизации, т. е. стать на ступень развитого культурно-исторического типа – живого и деятельного органа человечества, то им ничего другого не остается, как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический материал, в средство для достижения посторонних целей, потерять свой формационный, или образовательный, принцип и питать своими трудами и потом, своею плотью и кровью чужой, более благородный прививок, и чем скорее это будет, тем лучше.

<...> Итак, для *всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, словака, болгар* (желал бы прибавить и поляка) – *после Бога и Его святой Церкви идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага*, ибо ни одно из них для него недостижимо без ее осуществления – без духовно, народно и политически самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности.

К этому выводу привело нас все предшествовавшее развитие занимавшего нас вопроса. Вывод этот не имеет, конечно, ничего нового для

тех, которые от начала проводили или усвоили себе так называемую славянофильскую идею. Но я ставлю себя на место читателя, для которого взгляд этот более чужд, и мне слышится вопрос: в чем же, однако, может состоять эта новая славянская цивилизация? Зачатки ее на блестящем фоне европейской цивилизации становятся невидимыми для ослепленного глаза.

<...> Если, таким образом, нельзя отрицать возможности существования самобытных культурно-исторических типов, не лишенных важного значения в общей жизни человечества – без научной и художественной самостоятельности, то все же нельзя не сказать, что такая жизнь бедна и одностороння, что и могучий Рим в глазах потомства должен уступить место не только народам германо-романского типа, превосходящим Рим даже своим абсолютным политическим могуществом, но и политически ничтожной Элладе. Конечно, не такой бесцветной будущности мы вправе желать и ожидать для народов славянских. Что они могут иметь свое искусство – этого обыкновенно не оспаривают, да и трудно было бы оспаривать, когда зачатки его в разных отраслях изящного у всех перед глазами. Но что такое самобытная славянская наука? Есть ли ей место, да и вообще возможна ли национальная наука? Как ни устарел этот вопрос, составлявший некогда предмет оживленного спора в нашей литературе, я не могу оставить его без рассмотрения в этой главе, имеющей своим предметом отношение национального к общечеловеческому.

<...> Особый психический строй, характеризующий каждую народность (особенно же каждый культурно-исторический тип), проявляется не в том только, что присоединяет некоторую субъективную примесь к добываемым ими научным истинам, но еще и в том, что заставляет смотреть каждый народ на подлежащую научным исследованиям действительность с несколько иной точки зрения. Потому и отражения этой действительности в духе разных народов не совершенно между собою совпадают, но имеют в себе нечто такое, что взаимно дополняет их односторонность. Весьма странно, что отрицающие народность в науке, потому что истина – одна, допускают, однако же, ее разновременность. Слова «современная наука, новейшая наука» не сходят у них с языка. Если наука может быть разновременна смотря по возрасту, которого достигло народное сознание, почему же не может она быть и разноместна по

тем особенностям психического строя, которые отличают всякий народ на всех ступенях его развития? Если мы хотим получить точное и полное представление о каком-нибудь сложном предмете, например о горе, то недостаточно подниматься все выше и выше, чтобы обозреть ее с разных горизонтов, а надо еще заходить с разных сторон.

<...> Кроме специфически субъективной примеси и необходимой односторонности, зависящих от особенностей в психическом строе разных народностей, национальный характер придается науке еще тем предпочтением, той предилекцией, которые каждый народ оказывает некоторым отраслям знания, - что также ни от чего другого не может зависеть, как от известной соответственности, существующей между разными категориями, на которые разделяется предмет научного исследования, и между склонностями, а следовательно, и способностями разных народов. Точно так, как есть отдельные лица, чувствующие склонность к математике, к естествознанию, к филологии, к истории, к наукам общественным, так точно есть и народы по преимуществу математики, по преимуществу филологи и т. д.

<...> Что может быть точнее чистой математики и где тут, казалось бы, проявляться национальному характеру? Однако же он проявляется – и самым резким образом. Известно, что греки в своих математических изысканиях употребляли так называемую геометрическую методику, между тем ученые новой Европы употребляют преимущественно методику аналитическую. Это различие в методах исследования не есть случайность, а находит себе самое удовлетворительное изъяснение в психических особенностях народов эллинского и германо-романского культурного типов.

<...> По мере усложнения предмета наук и отсутствия строгой определенной методики в приемах научного исследования присутствие индивидуального, а следовательно, и национального элемента становится в них все более и более ощутительным. Во время спора в нашей литературе о национальности в науке защитниками ее было, помнится мне, приведено несколько довольно удачных примеров в подтверждение ее. Но можно привести примеры гораздо более сильные, против которых трудно что-либо возразить. Можно представить целый ряд теорий, которые все носят

несомненный признак всеми признанного отличительного характера той национальности, которая их произвела. Я думаю, со мною охотно согласятся, что существенную преобладающую черту в английском национальном характере составляет любовь к самостоятельности, к всестороннему развитию личности, индивидуальности, которая проявляется в борьбе со всеми препятствиями, противопоставляемыми как внешней природой, так и другими людьми. Борьба, свободное соперничество есть жизнь англичанина: он принимает их со всеми их последствиями, требует их для себя как права, не терпит никаких ограничений, хотя бы они служили ему же в облегчение, находит в них наслаждение. Начиная со школы, англичанин ведет эту борьбу – и где жизнь не представляет достаточных для нее элементов, он создает их искусственно. <...> Борьбу вводит англичанин во все свои общественные учреждения. В суде ли или в парламенте – везде личное состязание. В подражание парламентской борьбе они учреждают общества прений (*debating society*), где обсуживаются предложенные темы и решения поставляются большинством голосов. Всякую забаву англичане приправляют посредством пари, которое есть форма борьбы мнений. Эти пари приведены в настоящую систему. <...> Итак, борьба и соперничество составляют основу английского народного характера; и вот трое знаменитых английских ученых создают три учения, три теории в различных областях знания, которые все основаны на этом коренном свойстве английского народного характера.

<...> Но различием в субъективных свойствах (в психическом строе) народностей, обрабатывающих науки, не исчерпываются еще все причины, по которым и развитие науки носит на себе национальный отпечаток. В некоторых науках сам объект их существенно национален. Таковы все науки общественные.

<...> Итак, мы можем заключить, что и наука может быть национальна, но что в разных науках степень национальности различна. Национальность менее всего проявляется в науках, простых по своему содержанию или очень высоко стоящих по своему развитию, – в таких науках, к которым приложимы строгие методы исследования. Эти методы и составят препятствие к проявлению народности или вообще индивидуальности в несколько

значительной степени. Здесь роль народности ограничивается почти лишь способом изложения и выбором методы исследования, если таких приложимых метод несколько. Роль народности в науках увеличивается по мере усложнения предмета, не допускающего введения точной и строгой методы.

<...>

Гниет ли Запад?

О, никогда земля, от первых дней творенья,
Не зрела над собой столь пламенных светил.
Но, горе - век прошел - и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,
Проснися, дремлющий Восток.

А. С. Хомяков

<...> И славянское семейство народов образует столь же самобытный культурно-исторический тип, <...> и ежели откажется от самостоятельного развития своих начал, то и вообще должно отказаться от всякого исторического значения и снизойти на ступень служебного для чуждых целей этнографического материала, – и чем скорее, тем лучше. Для устранения некоторых недоразумений мне казалось небесполезным сделать довольно длинное отступление, чтобы уяснить отношения народного к общечеловеческому как вообще, так и в частности относительно развития научного, против народности в котором обыкновенно всего более восстают. Характер употреблявшихся мною доказательств был внешний, так сказать, формальный. Я не касался ни сущности славянского характера, ни сущности характера прочих культурно-исторических типов, а только старался показать, что ежели степень различия славянского семейства от прочих этнографических семейств человечества вообще и в особенности семейств арийского корня равнозначительна с различием их между собою, то и проистекающие из сего коренного различия разности в ходе культурно-исторического развития должны

быть также равнозначительны. <...> А теперь мы должны обратиться к исследованию не более или менее вероятных результатов этого будущего векового развития, а тех основных различий, которые существуют между типом славянским и германо-романским, или европейским, так как в этом различии и состоит весь вопрос.

<...> Неужели же можно не в шутку утверждать, как то некогда делали Хомяков и Киреевский, что Запад гниет? Сами славянофилы, по-видимому, отказались от этой экстравагантности. Защищать такие парадоксы – не значит ли хотеть быть *plus royaliste que le roi*? [*большой роялист, чем сам король (фр.)*]

<...> Ни одна культура не может быть вечною, и ежели бы все разом проливали свет свой, то все разом (или почти разом) и померкли бы, и мрачная ночь варварства распространилась бы над всей землей, так что новой культурной жизни не у чего бы было и зажечь свой светильник. Как в начале, пришлось бы добывать огонь цивилизации трудным и медленным трением дерева об дерево. Поэтому, хотя мы и не видим, почему бы не существовать еще раз двум самобытным цивилизациям одновременно бок о бок, однако же, более склонны думать, что ежели вызывается культурная жизнь нового исторического типа, то, должно быть, жизнь старого угасает. Не в этом ли и главное объяснение вражды, инстинктивно чувствуемой прежним историческим деятелем к новому – предшественником к преемнику? Сама мысль, высказанная славянофилами о гниении Запада, кажется мне совершенно верною, только выразилась она в жару борьбы и спора слишком резко и потому с некоторым преувеличением.

<...> Самое обилие результатов европейской цивилизации в нашем XIX столетии есть признак того, что та творческая сила, которая их производит, уже начала упадать, начала спускаться по пути своего течения. Обратимся к аналогии, представляемой другими, уже совершившими цикл своего развития культурно-историческими типами. В какое время достигли творческие силы, произведшие греческую цивилизацию, своего апогея? Без сомнения, век Перикла представляет уже окончание этого периода. На это время падает цвет искусств и закладка того философского мышления и того рода научного исследования, которые составляют характер греческой науки. Уже

с Пелопоннесской войны Греция, очевидно, клонится к своему падению. Век Аристотеля есть уже время полного упадка, но тут только и философия, и даже искусство достигают своего апогея, и только еще позже, в то время, которое можно назвать временем разложения, или, пожалуй, менее вежливо, гниения, достигает положительная наука своего полного развития в Александрии. Так же точно время полной силы римского народа совпадает со временем окончания войн Пунических и Македонских, ибо, начиная с Гракхов, внутренняя болезнь римского общественного тела начинает уже с силою обнаруживаться и требует героического, хотя и паллиативного лечения цезаризмом. Но время процветания римской цивилизации, когда она начала давать лучшие свои плоды, принадлежит царствованию Августа. Даже во времена Антонинов, непосредственно предшествовавших началу окончательного разложения, результаты римской цивилизации представлялись еще во всем блеске. Рим почти ничего не произвел самостоятельного ни в философском мышлении, ни в положительном научном исследовании. Единственное исключение составляет практическая область права – и научная обработка его соответствует очень позднему времени римской жизни; она, собственно, начинается в век Антонинов; а блестящий период этого права переживает самое Западно-Римское государство, давшее ему начало, переселившись на почву Византии.

<...> Какое же время цивилизации Европы соответствует этим эпохам апогея творческих сил и какое этим эпохам наибольшего накопления их результатов – исчезнувших цивилизаций Индии, Греции и Рима? Аналогия так поразительна, что трудно не ответить, что первым соответствует XVI и XVII векам, когда возводился храм Петра, писали: Рафаэль, Микеланджело и Корреджио, Шекспир сочинял свои драмы, Кеплер, Галилей, Бэкон и Декарт закладывали основы нового мышления и новых методов научного исследования, а вторым – столь обильный результатами теоретическими и практическими XIX век. В первую эпоху заложено все самобытное в европейском искусстве и в европейской науке, так что в последующее время оно только продолжало развиваться по тому же пути. <...> Высшим моментом творчества общественных сил должно признать то время, когда проявляются окончательно

те идеи, которые будут служить содержанием всего дальнейшего культурного развития. Результаты этого движения, этого толчка долго могут еще возрастать и представлять собою всю роскошь и изобилие плодов цивилизации, но уже создающая ее и руководящая ею сила будет ослабевать и клониться к своему упадку. Таков общий характер всякого постепенного развития, проявившийся во всех цивилизациях, совершивших свой цикл, где ход его нам сколько-нибудь известен. Если культурно-исторический тип Европы должен составлять исключение из этого общего характера, то надо указать причины такого единственного в своем роде исключения, а мы их, признаться, не видим.

<...>

Различия в психическом строе

*О, Русь моя! как муж разумный,
Сурово совесть допросив,
С душою светлой, многодумной
Идем на Божеский призыв.*

А. С. Хомяков

Различия в характере народов, составляющих самобытные культурно-исторические типы, те различия, на которых должно основываться различие в самих цивилизациях, составляющих существенное содержание и плод их жизненной деятельности, могут быть подведены под следующие три разряда: 1) под различия этнографические; это те племенные качества, которые выражаются в особенностях психического строя народов; 2) под различия руководящего ими высшего нравственного начала, на котором только и может основываться плодотворное развитие цивилизации как со стороны научной и художественной, так и со стороны общественного и политического строя; 3) под различия хода и условий исторического воспитания народов. С этих трех точек зрения и будем мы рассматривать особенности славянского и в особенности русского характера, так как пока один русский народ достиг политической самостоятельности и сохранил ее – условие, без которого, как

свидетельствует история, цивилизация никогда не начиналась и не существовала, а поэтому, вероятно, и не может начаться и существовать. Цель, с которой мы займемся этим рассматриванием, будет заключаться в том, чтобы оценить, достаточно ли велики эти различия для того, чтобы славянские народы могли и должны были выработать свою самобытную культуру под страхом утратить значение исторического племени в высшем значении этого слова.

<...> Верно, определительно схватить и ясно выразить различие в психическом строе разных народностей – весьма трудно. Различия этого рода как между отдельными лицами, так и между целыми народами имеют только количественный, а не качественный характер. Едва ли возможно найти какую черту народного характера, которой бы совершенно недоставало другому народу.

<...> Для отыскания таких свойств, которые можно бы было считать поистине чертами национального характера и притом существенно важными, надо избрать иной путь, нежели простая описательная передача частных наблюдений. Ежели бы нам удалось найти такие черты национального характера, которые высказывались бы во всей исторической деятельности, во всей исторической жизни сравниваемых народов, то задача была бы решена удовлетворительно, ибо если какая-либо черта народного характера проявляется во всей истории народа, то необходимо заключить, во-первых, что она есть черта, общая всему народу, и только по исключению может не принадлежать тому или другому лицу; во-вторых, что эта черта постоянная, не зависящая от случайных и временных обстоятельств того или другого положения, в котором народ находится, той или другой степени развития, через которые он проходит; наконец, в-третьих, что эта черта существенно важная, если могла запечатлеть собою весь характер его исторической деятельности. Такую черту вправе мы, следовательно, принять за нравственный этнографический признак народа, служащий выражением существенной особенности всего его психического строя.

Одна из таких черт, общих всем народам романо-германского типа, есть *насильственность* (Gewaltsamkeit). Насильственность, в свою очередь, есть не что иное, как чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности,

по которому человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо должен ему уступить волею или неволею как неравноправный ему. Такое навязывание своего образа мыслей другим, такое подчинение всего – своему интересу даже не кажется с точки зрения чрезмерно развитого индивидуализма, чрезмерного чувства собственного достоинства чем-либо несправедливым. Оно представляется как естественное подчинение низшего высшему, в некотором смысле даже как благодеяние этому низшему. Такой склад ума, чувства и воли ведет в политике и общественной жизни, смотря по обстоятельствам, к аристократизму, к угнетению народностей или к безграничной, ничем не умеряемой свободе, к крайнему политическому дроблению; в религии – к нетерпимости или к отвержению всякого авторитета. Конечно, он имеет и хорошие стороны, составляет основу настойчивого образа действия, крепкой защиты своих прав и т. д.

<...> Христианство в чистой форме православия, прилаживаясь к свойствам романо-германского народного характера, обратилось чрез это в католичество. Католичество зародилось, собственно, со времен Карла Великого, когда он своим покровительством утвердил власть римского епископа во всем своем государстве, границы которого почти совпадали с тем, что, собственно, должно называть Европою. До этого времени римские первосвященники пользовались только тем уважением, которое сопряжено было с именем Рима, а также тем, которое они утвердили за собою в глазах покоренных романских народов Италии, Галлии и Испании своею верностью православию, исповедуемому этими народами до покорения их варварами, тогда как варвары-покорители приняли по большей части арианство. Это же уважение по подобной же причине начало утверждаться и на Востоке во время гонений, воздвигнутых иконоборцами. Ежели бы папы остались верными догматам православия, то весьма вероятно, что они получили бы не главенство, конечно, но преобладающее влияние и уважение на Востоке, точно так же, как и на Западе; ибо восточные христиане видели бы в них прибежище против деспотизма, который нередко позволяли себе византийские императоры в церковных делах.

<...> Причина догматической разницы между церквами западною и восточною не имеют иного источника, кроме невежества, господствовавшего на Западе в первые века средней истории, и той насильственности характера, которая составляет основу всякого деспотизма, насильственности, считающей, что личное, частное мнение достаточно освящается и утверждается тем, что оно есть *наше мнение*. Сопоставление с Востоком являлось как бы унижением в собственных глазах западного духовенства. Таким образом часть – *Церковь западная* – похитила, узурпировала актом насилия права целого – *Церкви вселенской*.

<...> Дальнейшая религиозная история Европы подтверждает то же самое. Если бы не общий дух насильственности германо-романских народов, откуда взялся бы несвойственный христианству прозелитизм, огнем и мечом принуждавший креститься племена восточной Германии еще при Карле Великом, а при последующих императорах и северо-западные славянские племена? Откуда эти рыцарские ордена, Тевтонский и Меченосцев, внесшие насильственную проповедь к Литве, к латышам и к эстам и закрепостившие себе имущество и личность этих народов? Где бы взяли папы средства для кровавого подавления альбигойцев и вальденцев? Откуда набирала бы Екатерина Медичи убийц Варфоломеевской ночи? Могли ли бы без насильственности в самом народном характере явиться ревнители папства, часто более ревностные, чем сами папы, распространявшие и защищавшие его господство тонким насилием иезуитизма и грубым насилием инквизиции? Но лучшим доказательством, что не католицизм как христианское учение, так сказать, извне навязал характер насильственности на всю религиозную деятельность европейских народов, служит то, что и там, где протестантизм, имеющий притязание на учение свободное по преимуществу, заменил собою католичество, мы не видим в его последователях большей терпимости. Кальвин сжигает своего противника Серве не хуже какого-нибудь Констанцского собора; англичане гонят одинаково как католиков, так и пресвитериан; пуритане представляют собою образец религиозной нетерпимости. Но ведь это, скажут мне, все дела давно минувших дней, результат грубости, варварства, и не подает ли теперь Европа, не только протестантская, но и католическая,

пример религиозной терпимости – совершенного невмешательства в дела человеческой совести? Правда. Но когда же случился этот спасительный переворот? Не раньше, чем когда вообще религиозный интерес отступил на второй, третий, четвертый – одним словом, задний план и стушевался перед прочими интересами дня, волнующими европейское общество. Когда религия потеряла большую часть своего значения, так сказать, потеряла свой общественный характер, перестала быть *res publica* [государственное дело (лат.)], удалившись в глубь внутренней семейной жизни, тогда немудрено было сделаться наконец терпимым в отношении к ней, т. е., в сущности, равнодушным, по пословице: «На тебе Боже, что нам не гоже».

<...> Главный интерес европейских народов, после того как прошла колониальная горячка, обратился на вопросы гражданской и политической свободы. И опять насильственность характера проявилась не в меньшей силе, чем в религии и в колониальной политике. Не устающая действовать гильотина, лионские расстреливания картечью, нантские потопления, внешние войны, которыми проповедовались с мечом в руках равенство, братство и свобода, точно так, как некогда христианство Карлом Великим и рыцарскими орденами: что же это такое, как не нетерпимость, не насильственное навязывание своих идей и интересов во что бы то ни стало? И тут не так ли же, как у иезуитов, господствовало правило, что цель оправдывает средства, – эта истинная формула насильственности?

Но и революционный дух улегается, политический интерес отступает на второй план, хотя и не на столь далекий, как религия, и снова первую роль играют интересы материального свойства, интересы торговли и промышленности. Это интересы по самому существу своему личные и не допускают, казалось бы, насильственности в своем применении. И, однако же, и европейская торговля, эта мирная проводница цивилизации, представляет уже в наш просвещенный и гуманный век пример насильственности, столь же единственный в своем роде, как и торговля неграми. В начале сороковых годов Англия прокладывает пушками путь отраве в Китай. Неужели все конкистадоры, лигисты, инквизиторы или террористы на волос хуже, на волос более насильственны, чем цивилизованные купцы, заставляющие целый

мирный и почтенный уже одною своею древностью народ страиваться нравственно и физически в угоду своим коммерческим выгодам? Святость или величие интересов, во имя которых неистовствовали первые, составляет скорее в их пользу извиняющее обстоятельство, если только подобные насилия могут иметь какое-нибудь извинение.

<...> Что же представляет нам в параллель этой насильственности европейской истории, проявлявшейся во всяком интересе, получавшем преобладающее значение, история России? Религия составляла и для русского народа преобладающий интерес во все времена его жизни. Но он не ожидал проповеди энциклопедистов, чтобы сделаться терпимым. Терпимость составляла отличительный характер России в самые грубые времена. Скажут, что таков характер исповедуемого ею православия. Конечно. Но ведь то же православие было первоначально и религией Запада, однако же, как мы видим, оно исказилось именно под влиянием насильственности романо-германского характера. Если оно не претерпело подобного же искажения у русского и вообще у славянских народов, значит, в самых их природных свойствах не было задатков для такого искажения или, по крайней мере, они были так слабы, что не только не могли осилить того кроткого духа, который веет от христианства, но, напротив того, усвоив его себе, совершенно ему подчинились. Мало того, и те славянские племена, как, например, чехи, у которых вследствие германской насильственности православие уступило место католицизму, никогда не проявляли религиозной нетерпимости. Они только терпели от нее, а не сами заставляли терпеть; в их крови были потушены те православные воспоминания, которые с такою силою пробивались наружу в славные времена Гуса и Жижки. Один из славянских народов – поляки – представляет действительное и грустное исключение. Насильственность и нетерпимость отметили характер их истории. <...> И в самой русской истории проглядывают временами черты религиозной нетерпимости, именно относительно старообрядцев. Мы не оправдываем их, но должны, однако же, сказать, что, во-первых, эти гонения в сравнении с европейскими религиозными гонениями, представляются лишь слабыми, бледными отпечатками; во-вторых, что для правильного понятия об этих гонениях надо отличить в них два

различные характера. Именно они имеют совершенно различные свойства до и после Петра. Только в первый непродолжительный период характер их был действительно религиозный, и таковой получили они, без сомнения, от начинавшего в то время сказываться влияния западнорусского, киевского духовенства, которое, терпя само непрестанное гонение от латинства, находясь в непрерывных с ним отношениях, невольно заразилось в некоторой степени духом католической нетерпимости, который и передало Московскому государству тем успешнее, что было образованнее духовенства восточно-русского. Во второй период гонение имело исключительно характер политический, и старообрядство преследовалось как сильнейший протест русской жизни против иноземщины, в самый сильный разгар которой – при Бироне – преследовалось даже и само православие. Кроме этого, надо помнить, что русский народ никогда не сочувствовал гонению на старообрядство и тем менее в нем участвовал: оно производилось одною внешнею силою полиции. Надо также принять во внимание, что, взявшись за несвойственное народному характеру дело, правительство выказало в нем полную свою неумелость. К русскому религиозному гонению можно бы применить слова расхвалившегося взяточника: «А если уж на то пошло, так и взятки не так берут».

Русский народ имел также период обширных, отдаленных завоеваний, или, лучше сказать, расселений; эти завоевания производились, как и во времена испанских конквистадоров, почти без участия правительства искателями приключений и даже разбойничьими атаманами; и, однако же, какая разница! Слабые, полудикие и совершенно дикие инородцы не только не были уничтожены, стерты с лица земли, но даже не были лишены своей свободы и собственности, не были обращены победителями в крепостное состояние.

Итак, вот одно существенное различие. Славянские народы самую природою избавлены от той насильственности характера, которую народам романо-германским при вековой работе цивилизации удастся только перемещать из одной формы деятельности в другую. Неужели же такая прирожденная гуманность не отразится, как совершенно особая, своеобразная черта, в характере той цивилизации, которую им удастся создать? Она

и отражается во многом и многом, например в русском законодательстве относительно смертной казни. При самом принятии христианства Владимиром он почувствовал всю несообразность ее с высоким учением, которым просветился, и тем доказал, что более проникся духом его, чем его учителя и наставники, которые софистическими доказательствами умели устранить великодушные сомнения равноапостольного князя. Так же думал о смертной казни и Мономах – и все это в разгар средневекового варварства в Европе. Когда после реформы Петра русская жизнь начала опять понемногу поворачивать в русскую колею, императрица Елизавета, женщина с истинно русским сердцем, опять отменила смертную казнь, гораздо ранее, чем в Европе даже в теории против нее восстали. <...> Так же точно и отношение всего народа к преступникам запечатлено совершенно особенным, человеческим и истинно христианским характером. Можно еще указать на чуждые всякой насильственности отношения как русского народа, так и самого правительства к подвластным России народам, чуждые до такой степени, что нередко обращаются в несправедливость к самому коренному русскому народу. Тот же характер имеет и вся внешняя политика России, также нередко к ущербу России. Эта чересчур бескорыстная политика часто имела весьма невыгодные результаты для тех, которые имели всего более прав на нашу помощь и на наше сочувствие, но самая несправедливость, самые ошибки эти имели тем не менее своим источником отсутствие насильственности в характере, побуждавшее жертвовать своими интересами – чужим.

<...> Все великие моменты в жизни русского народа как бы не имеют предвестников, или, по крайней мере, значение и важность этих предвестников далеко не соответствуют значению и важности ими предвозвещаемого. Сам переворот, однако же, не происходит, конечно, как *Deus ex machina* [*Бог из машины (лат.)*]. Только предшествующий ему процесс есть процесс чисто внутренний, происходящий в глубине народного духа, незримо и неслышимо.

<...> Гораздо яснее, потому что само событие гораздо известнее, проявляется та же черта в принятии русским народом христианской веры. Обращение народов в новую веру, сколько мы тому знаем примеров, совершалось одним из следующих способов. Апостолы или миссионеры

долговременной проповедью, постоянными усилиями, мученичеством прокладывали путь новому учению, которое, постепенно увеличивая число своих последователей при более или менее долговременной борьбе партий, одерживало наконец победу. Так восторжествовало христианство в Римской империи. Или победители навязывают свое исповедание побежденным, как аравитяне покоренным ими народам Азии и Африки, как Карл Великий – саксонцам, как меченосцы – эстам и латышам; или, наконец, победители принимают веру побежденных, как франки от романизированных галлов. Ни первого, ни второго, ни третьего не было в России; по крайней мере, то, что можно считать в некотором смысле миссионерством, далеко по своей силе не соответствовало быстроте и беспрепятственности распространения христианства. Один человек, который по всему своему характеру представляет самое живое олицетворение славянской природы, является как бы представителем своего народа. Гостеприимный, общительный, веселый, несмотря на свои увлечения, насквозь проникнутый славянским благодушием, великий князь Владимир начинает чувствовать пустоту исповедуемого им язычества и стремление к чему-то новому, лучшему, способному удовлетворить душевную жажду, хотя для него и неясную. На его зов стекаются миссионеры от разных религий; он свободно обсуживает, совещаюсь со своими приближенными, излагаемые перед ним учения, посылает доверенных лиц исследовать характер этих религий на месте и, убедившись этим путем свободного исследования в превосходстве православия, принимает его. За ним, почти без сопротивления, принимает его и весь русский народ. Процесс, который происходил в душе князя, был только повторением более определенным и сознательным того, что смутно передумала и прочувствовала вся тогдашняя Русь. Ибо этим только и можно объяснить отсутствие сопротивления столь коренному нововведению. Все совершилось без наружной борьбы, потому что видимому действию предшествовала уже борьба внутренняя, отрешение от старого, отжитого и внутренняя жажда лучшего, нового. <...> Не может служить опровержением мирному и беспрепятственному распространению христианства в России и то часто выставленное на вид обстоятельство, что языческие понятия и обряды долгое

время продолжали господствовать в народе, да и теперь еще далеко не вполне устранены. Содержание христианства по его нравственной высоте бесконечно и вполне едва ли осуществляется даже в отдельных, самого высокого характера личностях, не говоря уже о целой народной массе. Но иное дело полное осуществление христианского идеала в жизни и деятельности, иное дело – более или менее неясное сознание его превосходства, его властительной силы над душою, о чем я только и говорю. Подобный же характер имеет и подвиг Минина. И он является представителем мысли и чувства, живших в целом русском народе, им только яснее сознанных и разом одушевивших народ.

<...> Несправедливо бы было заключить из общего характера, которым отличались все главные перевороты в жизни русского народа, об отсутствии в нем всякой энергии и самостоятельности, о его воскоподобной мягкости, по которой из него можно лепить что угодно. Мы видим другие примеры, что величайшие усилия правительства не приводили ровно ни к чему там, где цели его были противны народному убеждению или даже где народ относился к его целям совершенно равнодушно. Пример старообрядства доказывает первое, пример же множества учреждений, реформ, нововведений, оставшихся мертвою буквою, пустою формою без содержания, хотя против них не только не было активного, но даже и пассивного сопротивления, а было только совершенно равнодушное, безучастное к ним отношение, достаточно доказывает второе.

Из выставленной здесь черты русского народного характера, проявлявшейся при самых важных, торжественных мгновениях его жизни, выводится то заключение, что вообще не интерес составляет главную пружину, главную двигательную силу русского народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, но всецело обхватывающее его, когда настает время для его внешнего практического обнаружения и осуществления. А так как интерес составляет настоящую основу того, что мы называем партиями, то во всей исторической жизни России нет ничего, что бы соответствовало этому по преимуществу западноевропейскому, или романо-германскому, явлению.

Другой вывод из вышеизложенной исторической особенности важнейших моментов развития русского народа состоит в огромном перевесе, который принадлежит в русском человеке общенародному русскому элементу над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то, между тем как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто – в негодную тряпку, чему каждый, без сомнения, видел столько примеров, что не нуждается ни в каких особых указаниях.

<...>

Леонтьев К.Н.

Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения

§ I

[Теперь посмотрим, не подтвердит ли наше мнение сама Европа устами самых знаменитых своих писателей].

Все эти писатели на разные лады подтверждают наше мнение; все согласны в том, что Европа смешивается в действительности и упрощается в идеале. Разница в том, что иные почти довольны той степенью смешения и упрощения, на которой находилась или находится в их время Европа; другие находят, что смешение еще очень недостаточно, и хотят крайнего однообразия, думая в этом оцепенении обрести блаженство; а третьи негодуют и жалуются на это движение. К первым относятся более или менее все люди умеренно либеральные и умеренно прогрессивные. Иные из них не прочь от крайнего упрощения, но боятся бунтов и крови и потому желают, чтобы равенство быта и ума пришло постепенно. Таков, например, Bastiat в своих «*Harmonies économiques*». Его книга дорога именно тем, что она пошла и доступна всякому. Он говорит: «Мы не сомневаемся, что человечество придет к всеобщему одинаковому уровню: материальному, нравственному и умственному», – и очень, по-видимому, рад этому; желает только постепенности в этом упрощении и формы его не предлагает. Таков Абу в своей книге «*Le progres*».

В ней вы найдете тоже очень ясное расположение к всеобщему однообразию. В одном месте он смеется над провинциальным собственником, который робеет в присутствии префекта, забывая, что префект одет хорошо и живет хорошо на подати, платимые этим собственником; смеется над матерями, которые хотят одеть сыновей своих в мундиры, вместо того чтобы учить их торговать или хозяйничать... (И мы готовы смеяться над мундирами, но не за то, что ими поддерживается хоть какое-нибудь отличие в нравах и быте, а за то, что они пластически безобразны и европейски опошлены.) В другом месте Абу говорит: «Конечно, храбрый генерал, искусный дипломат (*un diplomate malicieux*) и т. п. полезны, но они полезны для мира в том виде, в каком он есть теперь, а придет время, в которое они не будут нужны». Вот и еще две-три формы людского развития, человеческого разнообразия, психического обособления индивидуумов и наций уничтожаются. Не позволены уже более ни Бисмарки, ни Талейраны, ни Ришелье, ни Фридрихи и Наполеоны... Царей, конечно, нет и подавно. Про духовенство Абу прямо в этом месте не говорит, но он во многих других места своей книги отзывается или с небрежностью, или даже с ненавистью о людях верующих. «Пускай себе кто хочет, ходит в синагогу, кто хочет в протестантскую церковь и т. д.» Подразумевается: «Это не страшно, с этим прогресс справится легко!»

Кто же ему нужен? Ему для прогресса нужны: агрономы (смотри дальше об излишней обработке земного шара, у Дж. С. Милля и Рилля), профессора, фабриканты, работники, механики и, наконец, художники и поэты... Прекрасно; понятно, что механик, агроном ученый могут, как сыр в масле, кататься, обращая пышный шар земной в одну скучную и шумную мастерскую... Но что делать поэту и художнику в этой мастерской?.. Они и без того задыхаются больше и больше в современности. Не лучше ли сказать прямо, что и они вовсе не нужны что без этой роскоши человечество может благополучно прозябать. Есть люди, которые и решались так говорить; но не таков Абу. Любопытно бы проследить, о чем именно писали все современные поэты и романисты и какие сюжеты выбирали живописцы нашего времени для своих картин. Такого рода исследование о писателях XIX века покажет нам, что лучшие из них, если и брали сюжетами своими современную жизнь, то лишь

потому, что в ней много еще было остатков от прежней Европы и что то плоское, повальное, буржуазное просвещение, о котором заботится Абу, да же и для землепашца и работника, еще в действительности не существовало и не существует. Во всех романах найдем интересные, завлекательные встречи и столкновения людей различного воспитания, противоположных убеждений, разнообразной психической выработки, крайне различного положения в обществе, людей с несходными сословными преданиями (и иногда и правами, например, в тех сочинениях, в которых изображается время Реставрации, пэрства и т. п.). Посмотрите романы Санд: «Индиана», «Валентина», «Мопра», «Жак», «Жанна» и другие, и вы убедитесь, что на каждом шагу остатки социального неравенства, религия, простота и грубая наивность сельского быта и изящные потребности людей, имеющих при имени своем частицу де, дают пищу ее таланту.

<...> Абу в одном месте очень жалуется на грубость французских крестьян, описывает, как мужик бьет крепко ломовую лошадь свою; как молодые крестьяне грубо ухаживают за девушками... Он желает, чтобы прогресс сделал их поскорее похожими на него самого, буржуазного наследника прежней барской любезности. Об этом у него целый (немного хамовато-любезный) разговор с дамой. Крестьяне кое-где во Франции, конечно, еще грубы и наивны; еще более их, разумеется, были грубы и наивны южноитальянские рыбаки в начале этого века. Однако в среде этих рыбаков Ламартин встретил свою «Грациеллу», изображение которой считается одним из лучших созданий его.

Что касается до живописца Ingres и до других художников XIX века, то и они вдохновлялись не буржуазным вечером или обедом, на котором Абу любезничал бы о прогрессе с какой-нибудь мещанкой нашего времени, но все такими явлениями жизни, которые без разнообразия убеждений, быта и характеров немыслимы. Один изображал чудесный переход евреев через Красное море; другой – борьбу гуннов с римлянами; третий – сцены из войн консульства и империи; четвертый – сцены из ветхозаветной и евангельской истории...

Если то, что в XIX веке принадлежит ему исключительно или преимущественно: машины, учителя, профессора и адвокаты, химические лаборатории, буржуазная роскошь и буржуазный разврат, буржуазная умеренность и буржуазная нравственность, полька *tremblante*, сюртук, цилиндр и панталоны, – так мало вдохновительны для художников, то чего же должно ожидать от искусства тогда, когда по желанию Абу не будут существовать ни цари, ни священники, ни полководцы, ни великие государственные люди... Тогда, конечно, не будет и художников.

О чем им петь тогда? И с чего писать картины?.. Книга Абу – книга легкая и поверхностная; но поэтому самому многолюдной читающей бездарности весьма доступная, и она теперь переведена даже и по-русски. Поэтому мы и остановились на ней несколько дольше, чем бы она заслуживала при тех серьезных вопросах, которые нас занимают.

<...> Бокль весьма наивно благоговееет перед тем эгалитарно-либеральным движением, которое, начавшись с конца XVIII века, продолжается еще до сих пор с небольшими роздыхами и слабыми обратными реакциями и не дошло еще настолько до точки своего насыщения, чтобы в жизни разразиться окончательными анархическими катастрофами, а в области мысли выразиться пессимистическим взглядом на демократический прогресс вообще и на последние выводы западной романо-германской цивилизации. Но только этот род пессимизма может вывести разум человеческий на истинно новые пути. Эгалитарно-либеральный процесс называется, смотря по роду привычки, по точке освещения, разными именами. Он называется стремлением к индивидуализму, когда хотят выразить, что строй общества нынешнего ставит лицо, индивидуум прямо под одну власть государства, помимо всех корпораций, общин, сословий и других сдерживающих и посредствующих социальных групп, от которых лицо зависело прежде; или то, что направление политики и законодательства должно окончательной целью иметь благо и законную свободу всех индивидуумов, зовут это движение также демократизацией в том смысле, что низший класс (демос) получает все больше и больше не только личных гражданских прав, но и политического влияния на дела. Иные зовут осторожное и благонамеренное обращение властей и высших

классов с этим движением «полезными и даже благотельными реформами», а Прудон со своей грубостью ученого французского мужика ставит точку над «i» и зовет этот процесс прямо революцией, то есть под этим словом Прудон понимает вовсе не бунты и не большую какую-нибудь инсurreкцию, а именно то, что другие зовут так вежливо демократическим прогрессом, либеральными реформами и т. д. Я же потому предпочитаю всем этим терминам мой термин вторичного упрощающего смешения, что все поименованные названия имеют смысл гораздо более тесный, чем мое выражение; они имеют смысл – политический, юридический, социологический, пожалуй, не более, не шире и не глубже. Мой же термин имеет значение органическое, естественно-историческое, космическое, если угодно; и потому может легче этих других перечисленных и несколько подкупающих терминов раскрыть, наконец, глаза на это великое и убийственное движение людям, в его пользу по привычке предубежденным.

<...> Ни из сочинения Шлоссера, ни из другой какой-нибудь мало-мальски здравой книги нельзя вывести, что «люди простые и честные, темные и скромные» ведут за собой историю рода человеческого! Вернее сказать было бы, что история вела за собой и двигала толпу этих «простых и честных» людей. Или можно было бы сказать, например, что «прогресс ведет человечество к безусловному торжеству этих простых и честных, темных и скромных людей».

<...> Кто же истинно полезный человек? Шопенгауэр говорит, что самый моральный человек это тот, кто самый сострадательный, добрый, кто во всех и во всем видит себя, всех жалеет, всякому страданию сочувствует.

<...> Итак, что же делать, чтобы быть несомненно полезным человеком? Изобретать машины? По Боклю и ему подобным – это так. По преосвященному Никанору, который не менее Бокля учен или начитан, – это вовсе не так. Яков Уатт по этому взгляду оказывается человеком гораздо более вредным, чем полезным.

И повторим здесь еще раз: так как новейшее направление истории идет против капитализма и неразрывного с ним умеренного, среднего либерализма, то, вероятно и ближайшие события пойдут не по пути купеческого сына Бокля,

а по духу епископа Никанора, по крайней мере, с этой отрицательной стороны: против машин и вообще против всего этого физико-химического умственного разврата, против этой страсти орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь, металлами, газами и основными силами природы – разрушать растительное разнообразие, животный мир и самое общество человеческое, долженствующее быть организацией сложной и округленной наподобие организованных тел природы.

§ II

<...> После Прудона, желающего, подобно Базарову, чтобы все люди «стали друг на друга похожи, как березы в роще», – я приведу мнение Герцена, его современника и бывшего даже чуть не единомышленником Прудона до тех пор, пока его не ужаснула та прозаическая перспектива сведения всех людей к типу европейского буржуа и честного труженика, которая так восхищала Прудона. Герцену как гениальному эстетике 40-х годов претил прежде всего самый образ этой средней европейской фигуры в цилиндре и сюртучной паре, мелкодостойной, настойчивой, трудолюбивой, самодовольной, по-своему, пожалуй, и стоической и во многих случаях, несомненно, честной, но и в груди не носящей другого идеала, кроме претворения всех и вся в нечто себе подобное и с виду даже неслыханно прозаическое еще со времен каменного периода. Герцен был настолько смел и благороден, что этой своей аристократической брезгливости не скрывал. И за это честь ему и слава. Он был специалист, так сказать, по части жизненной, реальной эстетики, эксперт по части изящества и выразительности самой жизни <...>

Прудону до эстетики жизни нет дела; для Герцена эта эстетика – все! Как скоро Герцен увидел, что и сам рабочий французский, которого он сначала так жалел и на которого так надеялся (для возбуждения новых эстетических веяний в истории), ничего большего не желает, как стать поскорее по-прудоновски самому мелким буржуа, что в душе этого рабочего загадочного нет уж ровно ничего и что в представлениях ее ничего нет оригинального и действительно нового, так Герцен остыл и к рабочему, и отвернулся от него, как и от всей Европы, и стал верить больше после этого в Россию и ее оригинальное, не

европейское и не буржуазное будущее. (Прав ли он в этом веровании – не знаю.) Герцен хотел поэзии и силы в человеческих характерах. Того же хочет Дж. Ст. Милль; идеал Прудона, т. е. всеобщая буржуазная ассимиляция, его ужасает; но он предлагает невозможное лекарство: дерзкую оригинальность мыслителей, т. е. своеобразие и разнообразие мысли на социальной почве, среди общественной жизни, все более и более перестающей давать умам разнообразные и своеобразные впечатления.

Умственная оригинальность теперь в Европе возможна только на четырех путях: или 1) оригинальность и смелость отчаяния в будущем европейской или, по крайней мере, в будущем собственной страны, как, например, у Ренана (смотри Н. Н. Страхова «Борьба с Западом», Т. I) или у Прево-Парадоля («La France democratique»); или 2) отчаяние в будущем всего человечества, как у последователей Шопенгауэра и Гартмана <...>; или 3) оригинальность европейской мысли должна искать себе какого-нибудь вдохновения за пределами романо-германского общества, в России, у мусульман, в Индии, в Китае, к чему попытки бывали уже не раз; или, наконец, 4) в области мистической (спиритизм, медиумизм и т. п.; переходы в Православие или в иную не западную веру и т. д.)

§ III

<...> Когда на развалинах Рима и Эллады образовались новые культурные миры Византии и Западной Европы, то, во-первых, в основание легла новая мистическая религия; во-вторых, предшествовало этому могучее племенное передвижение (переселение народов): на Востоке для образования Византии – меньше, на Западе – больше; и, в-третьих, образование нового культурного центра – Византии на Босфоре. Христианство, новая религия для всех, для Востока и Запады; для Запады – центр старыи, но обновленный иноземным племенным приливом; для Востока – племя старое, греческое, гораздо менее обновленное иноземцами, но отдохнувшее, так сказать, в долгом застое идей, и центр совершенно новый – Византия. Ничего подобного в Европе Западной нет и пока не предвидится. Риль поэтому прав вообще, что нужны пестрые группы как для образования особых, общих, крепких типов,

однородных в каждой группе, отдельно взятой, своеобразных при сопоставлении с другими группами и слоями; так и для богатой формации отдельных типов, и для содержательности самих произведений ума и фантазии. Так, например, монах, похожий на других людей своей сословной группы, на монахов, становится очень оригинален, как только мы его сравним с членом другой, довольно однородной в самой себе сословной группы, положим, с солдатом; так малоросс, сохранивший все главные психические и бытовые черты своей провинциальной или этнологической группы, не особенно оригинальный у себя дома, чрезвычайно оригинален, если его сравнить с великороссом-крестьянином, представителем другой местной группы и т. д.

Тип, смешанный из двух равно крепких, имевших время устояться типов, выходит нередко в своем роде прекрасный. Таковы, например, выходившие прежде у нас хорошие монахи из старых солдат. Таковы бывали у нас же дворяне, генералы из мужиков, поповичей или простых казаков: старый Скобелев, Котляревский, граф Евдокимов; или даже генералиссимусы из московских пирожников, подобно Меншикову. Таков был Наполеон I из семьи бедных, закоснелых корсиканских дворян. Чем бледнее будут цвета составных частей, тем ничтожнее и серее будет и сложный из этих цветов психический рисунок; чем отдельнее будут социальные слои и группы, чем их обособленные цвета гуще или ярче, чем их психический строй тверже (т. е. обособленнее), чем неподатливее на чужое влияние, – тем и выше, и больше будет случайный, вырвавшийся из этих групп и прорвавший эти слои, сложный психический или вообще исторический продукт. (Например, Лютер из католичества.) Это и бывает, заметим, в первые годы скорого смешения; например, так было во Франции от 80-х годов XVIII столетия до 40-х годов нашего века. Влияния старых групп и слоев еще не погибли, требования новых идей и стремлений заявили себя с необычайно бурной силой. Смешение насильственное произошло и дало сначала трагически – героев террора, потом Наполеона и его генералов; Ж. де Местра, Шатобриана, Беранже и т. д... Смешение продолжалось; цвета обособляющие стерлись еще более; все примирились, притерлись и выцвели. Как же быть, чтобы посредством или сохранившихся,

или образовавшихся рилевских групп достичь того, чего бы желали Герцен и Милль, – силы и своеобразия характеров?

Нужно, чтобы дальнейшая жизнь привела общество к меньшей подвижности, нужно, чтобы смешение или ассимиляция сама собой постепенно приутихла. Другого исхода нет не только для Запада, но и для России и для всего человечества. <...>

§ IV

Кто-то из прежних писателей наших (если не ошибаюсь, К.С. Аксаков) заметил, что европейская история делает крутой поворот в своем течении ко второй половине каждого столетия; быть может, это бывало и бывает везде, но в европейской истории это не только нам субъективно заметнее, потому что известнее, но и в самом деле *an und für sich* объективно резче, ибо романо-германская цивилизация самая сложная, самая резкая, самая самосознательная, самая выразительная из всех прежде бывших. В самом деле, вспомним, что случилось в самое среднее десятилетие нашего века, т. е. от 48 до 60-го года, или, если хотите, от 51 до 61-го. (Это небольшое колебание цифр, конечно, не важно.) Первые социалистические бунты на Западе; строжайшая охранительная реакция Императора Николая в России и усмирение его оружием племенного восстания в Австро-Венгрии. Начало 2-й империи во Франции (51-го года); наша Восточная война (53–56). Воцарение Императора Александра II в России и короля Фридриха Вильгельма в Пруссии (оба эти монарха, каждый по-своему, позднее произвели в России и Германии вторичное смешение групп и слоев социальных и политических). Объединение Италии (59–60); через это ослабление Франции и Австрии; через это новое усиление либерализма в обеих странах. Приготовления к шлезвиг-гольштейнской племенной (т. е. смесительной) войне в Германии и к либерально-эгалитарным реформам в России. В 61-м году начало того и другого. В то же время начало междоусобной войны в Америке, кончившейся политическим смешением южан с северянами, и социальное уравнивание черных с белыми. В этот же промежуток времени, в 59 и 60-х годах, дальний азиатский Восток, Индия и Китай, как бы пробудясь от тысячелетнего отдыха своего, заявили вновь права свои на

участие во всемирной истории; Индия впервые восстала; Китай вступил впервые в нешуточную борьбу с двумя передовыми нациями Запада: с Францией и Англией. Индия была усмирена; Китай был побежден. Но кончено – и тот и другая уже вовлечены в шумный и страшный поток всемирного смешения, и мы, русские, с нашими серо-европейскими, дрябло-буржуазными, подражательными идеалами, с нашим пьянством и бесхарактерностью, с нашим безверием и умственной робостью сделать какой-нибудь шаг беспримерный на современном Западе, стоим теперь между этими двумя пробужденными азиатскими мирами, между свирепого-государственным исполином Китая и глубоко мистическим чудищем Индии, с одной стороны, а с другой – около все разрастающейся гидры коммунистического мятежа на Западе, несомненно уже теперь «гниющем», но тем более заразительном и способном сокрушить еще многое предсмертными своими содроганиями...

Спасемся ли мы государственно и культурно? Заразится ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим, мистическим настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью и, подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно образовать новые общественные прочные группы и расслоить общество на новые горизонтальные слои – или нет? Вот в чем дело! Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы, окончательно смешавши всех и вся, написать последнее «мани-фе-кел-фарес!» на здании всемирного государства... Окончить историю, – погубив человечество; разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной. Ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет.

<...> Взгляните также непредубежденным взглядом на жизнь какой-нибудь нынешней помещичьей усадьбы; лучше всего на жизнь усадьбы, еще сохранившей прежнего помещика-дворянина. Большой дом, двор, сад, быть может, и церковь даже; ряд изб на деревне. Дворовые люди; слуги в доме; крестьяне обрабатывают господское поле. Все-таки не помещик служит им,

а они ему. Все прежние начала налицо; все реальные силы остались, но соотношения их изменились. Род сочетания этих сил не так прочен, как был прежде. Все стало подвижнее, ровнее и свободнее... И вот все стало разрушаться – и там и здесь; и у помещика в области личной крупной недвижимости, удержанной на месте уже не собственной силой, а только благодаря существованию сверх земли подвижного капитала или у самого дворянина, или в банке (опять-таки в непрочной ассоциации подвижного капитала), и в области труда, у крестьян. Разница, впрочем, та, что у помещика все лично, все индивидуально, все свободно, и потому уже все решительно непрочно; а у крестьян, у представителей труда – все движимое, деньги, одежда, скот – тоже непрочно, а только земля, в которой он не властен, не волен, к которой он коммунистическим общинным рабством прикреплен, – неподвижна и спасает несколько и его самого, и еще более государственно-культурный строй самой России. Люди, желающие из личных (капиталисты) и агрономических соображений уничтожить поземельную общину, при всей своей возможно искренней благонамеренности, могут стать, если их послушают, более вредными, чем самые отъявленные бунтовщики. <...>

§ VI

От рилевского взгляда на пользу оригинальных и друг от друга по возможности удаленных общественных групп легко перейти к учению о реальных силах общества. Это до крайности простое в своих основаниях, но тем не менее поразительное учение должно бы одно само по себе нанести неисцелимый удар всем надеждам не только на полное однообразие и безвластие а la Прудон, но и на что бы то ни было приблизительное. Реальные силы – это очень просто. Во всех государствах с самого начала исторической жизни и до сих пор оказались неизбежными некоторые социальные элементы, которые разнородными взаимодействиями своими, борьбой и соглашением, властью и подчинением определяют характер истории того или другого народа. Элементы эти или вечные и вездесущие реальные силы, следующие: религия или Церковь с ее представителями; государь с войском и чиновниками, различные общины (города, села и т. п.); землевладение; подвижной капитал;

труд и масса его представителей; наука с ее деятелями и учреждениями; искусство с его представителями. Вот они эти главные реальные силы обществ; это действительно очень просто, и всякий как будто это знает; но именно как будто. Тот только истинно и не бесполезно знает, у которого хоть главные черты знакомого постоянно и почти бессознательно готовы в уме при встрече с новыми частными явлениями и вопросами.

Это почти до грубости простое напоминание об этих реальных силах и неизбежности попеременного антагонизма и временной солидарности между ними служит еще большим подкреплением таким взглядам, каковы взгляды вышеупомянутых защитников разнообразия и разделения на группы. Если не ошибаюсь, Роберт фон Мольте первый ясно и специально обратил внимание на эту старую истину, эмпирически всем известную и смутно всеми чуемую, кроме таких людей, которые, подобно Прудону и некоторым анархистам, безумно и ненаучно, так сказать, верят в возможность безвластного, сплошного и однородного общества, долженствующего своим земным блаженством «закончить» историю или воспитание рода человеческого. Правда – жизнь рода человеческого на этой земле – такое общество, осуществленное даже и приблизительно, может поневоле окончить; погубить даже физически род людской оно, конечно, может или посредством излишнего размножения и безумия изобретений, или посредством тоски и скуки, равномерно распределенными в борьбе с мирными и мелкими, уже ни в каком случае неотвратимыми препятствиями. Но остановиться не только что навсегда, но даже и на короткое время не может подобное общество, если бы даже оно и осуществилось когда-нибудь в виде смешанного и однообразного всемирного государства. Некому будет завоевать ослабевшего и через меру демократизированного соседа; соседей отдельных не будет тогда; сами себя несомненно и даже вполне легально и весьма искусно выучатся уничтожать.

<...> Образование естественных органических групп и надавливающих взаимно друг на друга слоев или классов и действие друг на друга реальных этих, вышепоименованных сил – неизбежно; оно было всегда и есть теперь. Но, во-первых, распределение этих групп и слоев, род их соотношений были и суть весьма различны в различных государствах и в разные эпохи; а,

во-вторых, степень их обособленности природой, бытом и законом не всегда и не везде одинаково резка; подвижность этих групп и сила может быть слишком мала, или слишком велика, или в меру сообразна со свойствами социального организма. Государь или хоть слабое подобие государя, т. е. один человек, облеченный известной высшей властью, есть и был всегда и везде. Конечно, есть большая разница между высоким положением китайского императора и ничтожной ролью президента Соединенных Штатов; большая разница была между французским самодержцем – «l'Etat c'est moi» и дожем Венеции; между временным вождем народа в греческих республиках и великим царем Персии. Однако все-таки один человек; в Спарте, положим, было два царя без особой власти и в Риме два консула, но в этом отвращении от единовластия, в этом двоевластии видна наклонность все-таки к сосредоточению некоторых атрибутов власти на возможно меньшее количество лиц: к централизации власти... Рим недолго устоял в этом виде и перешел к единовластию; и маленькая Спарта, быть может, обошлась без диктаторов только благодаря жестокому деспотизму своего устройства, с одной стороны, коммунистическому, а с другой – расслоенному, аристократическому.

Великая разнородность, разумеется, существует во взаимных отношениях подвижного капитала, труда и землевладения, в разных местах и в разные времена; но всегда эти противоположные друг другу и в то же время друг для друга необходимые реальные силы существовали одновременно и существовать будут. Точно так же и зародыши того, что мы называем наукой, существовали всегда и существуют и теперь во многих местах в виде зачаточном. Конечно, трудно назвать наукой различные наблюдения диких и деревенских простолюдинов; наблюдения метеорологические, нравственные, в виде пословиц и поговорок, но, однако, и в этом же есть и некоторого рода несовершенное наведение и какая-нибудь слабая дедукция; мужик знает, что камень падает вниз; это, конечно, не ньютоновское знание, но все-таки знание, наблюдение; это в сфере знания относится к большому знанию в науке так, например, как власть дожа относилась к власти Людовика XIV или власть американского президента к власти Русского Государя. Количественные отношения всех этих реальных сил в разных местах и в разные эпохи разные,

но совместное существование их повсеместно и вечно. Поэтому о полном уничтожении той или другой из этих сил, или и почти всех, кроме труда и, может быть, незначительной собственности (как, например, хотел бы Прудон и как стараются сделать это теперь на практике анархисты всех стран, коммунисты Парижа и наши русские нигилисты), невозможно и думать.

<...> Оставляя здесь в стороне вопросы права, справедливости, законности относительно благоденствия, нравственности и т. д., вообще, не касаясь ни до чего, что не относится прямо к социальной психомеханике (если можно так выразиться), мы, начиная с глубочайшей древности и до сих пор, видим одно: что ни мистической религии (какой бы ни было), ни власть, ни капитал, ни труд, ни даже, если хотите, само рабство, ни науки, ни искусство, ни землевладение, ни чиновников (т. е. исполнителей предписаний власти) нельзя никак вытравить из социального организма дотла. Можно только доводить каждую из этих сил до наименьшего или до наибольшего ее проявления. Так, например. У прежних венецианцев и нынешних Соединенных Штатов исполнительная верховная власть (государь, президент, дож) доведена до минимума; в древней Спарте землевладение было крепко устроено, а подвижной капитал доведен до наименьшей силы. В Византии и в первоначальной церковно-феодалной Европе реальные науки, которые к концу предыдущей греко-римской культуры стали было процветать больше прежнего, были низведены до ничтожества; однако все-таки не вполне уничтожены (были даже физико-химические изобретения, например, греческий огонь). Теперь, в XIX веке более или менее везде в христианских государствах капитализм (или накопление подвижных богатств) доведен до своего максимума. И вот почти одновременно с его воцарением в Европе, в конце XVIII и в начале нашего века, явилась сильнейшая ему антитеза – первые коммунистические порывы, манифест Бабефа и т. п., и с тех пор порывы эти все растут и растут и будут расти неизбежно, пока не достигнут своего социально-статического предела, т. е. пока не ограничат надолго прямыми узаконениями и всевозможными побочными влияниями как чрезмерную свободу разрастания подвижных капиталов, так и другую, тоже чрезмерную свободу обращения с главной недвижимой собственностью – с землею, т. е. свободу, данную теперь

всякому или почти всякому продавать и покупать, накапливать и дробить поземельную собственность. Коммунизм, думая достигнуть полного равенства и совершенной неподвижности путем предварительного разрушения, должен неизбежно, путем борьбы своей с капиталом и попеременных побед и поражений привести, с одной стороны, действительно к значительно меньшей экономической неравномерности, к сравнительно большему противу нынешнего экономическому уравниению, с другой же, к несравненно большему противу теперешнего неравенству юридическому, ибо вся история XIX века, освещенная с этой стороны, и состояла именно в том, что по мере возрастания равенства гражданского, юридического и политического увеличивалось все больше и больше неравенство экономическое и чем больше приучается бедный нашего времени сознать свои гражданские права, тем громче протестует он противу чисто фактического владения капитала, никакими преданиями, никаким мистическим началом не оправданного. Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно, с одной стороны, к меньшей подвижности капитала и собственности, с другой – к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, законами резко очерченным, вероятно даже, к новым формам личного рабства или закрепощения <...>

Нынешний анархический коммунизм, с одной стороны, есть не что иное, как все тот же эгалитарный либерализм, которому послужили столькие умеренные и легальные люди XIX века, все то же требование неограниченных ничем личных прав, все тот же индивидуализм, доведенный до абсурда и преступления, до беззакония и злодейства; а с другой стороны, именно потому, что он своим несомненным успехом делает дальнейший эгалитарный либерализм непопулярным и даже невозможным, он есть необходимый роковой толчок или повод к новым государственным построениям не либеральным и не уравнительным. Когда мы говорим – не либеральным, мы говорим неизбежно тем же самым не капиталистическим, менее подвижным в экономической сфере построениям, а самая неподвижная, самая неотчуждаемая форма владения есть,

бесспорно, богатая, большою землею владеющая община, в недрах своих не равноправная относительно лиц, ее составляющих. Вероятно, к этому и ведет история те государства, которым предстоит еще цвести, а не разрушаться.

Прочное землевладение и подвижной капитализм находятся, как известно, в существенном антагонизме, и утвержденное землевладение сдерживает метание туда и сюда капитала, обуздывает его, делает весь строй общественный менее подвижным (а вследствие того и государство более прочным); преобладание подвижного капитала способствует гибели прочного землевладения (а вследствие того позднее и государства), ибо делает весь строй общественный слишком подвижным. Поэтому, воюя противу подвижного капитала, стараясь ослабить его преобладание, архилиберальные коммунисты нашего времени ведут, сами того не зная, к уменьшению подвижности в общественном строе, а уменьшение подвижности – значит уменьшение личной свободы, гораздо большее противу нынешнего ограничение личных прав. А раз мы сказали уменьшение личных прав, мы сказали этим – неравноправность, ибо нельзя же понимать это в смысле всеобщего, однообразного и равномерного уменьшения прав; это было бы опять то же равенство, это форма крайнего равенства – невозможная, по законам социальной механики, и никогда и нигде не бывавшая. Сказавши же неравноправность и некоторая неподвижность (устойчивость), мы этим самым говорим: сословия горизонтальные и группы вертикальные (провинции, общины, семья, города), неравномерно одаренные свободой и властью. Если же анархисты и либеральные коммунисты, стремясь к собственному идеалу крайнего равенства (который невозможен), своими собственными методами необузданной свободы личных посягательств, должны рядом антитез привести общества, имеющие еще жить и развиваться, к большей неподвижности и к весьма значительной неравноправности, то можно себе сказать вообще, что социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм уже вовсе недалекого будущего. Разумея при этом слово феодализм, конечно, не в тесном и специальном его значении романо-германского рыцарства или общественного строя именно времени этого рыцарства, а в самом широком его смысле, т. е. в смысле глубокой неравноправности классов и групп, в смысле

разнообразной децентрализации и группировки социальных сил, объединенных в каком-нибудь живом центре духовном или государственном; в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинение одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим или чем-нибудь облагороженным (так, например, как были подчинены у нас в старину рабочие селения монастырям).

Теперь коммунисты (и, пожалуй, социалисты) являются в виде самых крайних, до бунта и преступлений в принципе неограниченных, либералов; их необходимо казнить, но сколько бы мы их ни казнили, по нашей прямой и современной обязанности, они, доводя либерально-эгалитарный принцип в лице своем до его крайности, обнажая, так сказать, его во всей наготе его, служат бессознательную службу реакционной организации будущего. И в этом, пожалуй, их косвенная польза даже и великая. Я говорю только польза, а никак, конечно, не заслуга. Заслуга должна быть сознательная; польза бывает часто нечаянная и вполне бессознательная. Пожар может иногда принести ту пользу, что новое здание будет лучше и красивее прежнего; но нельзя же ставить это в заслугу ни неосторожному жильцу, ни злонамеренному поджигателю.

§ VII

<...> У всех тех авторов, с которых я начал мой обзор, у Bastiat, Абу, Бокля и Шлоссера, мы видим, что они ставят идеалом человека, идеалом будущего не рыцаря, не монаха, не воина, не священника, ни даже какого-нибудь дикого и свежего, нетронутого никакой цивилизацией человека (как ставил Тацит в пример германца, как ставили Византия и старая Московия святого монаха, как прежняя Европа ставила и то и другое, и монаха, и рыцаря, заставляя последнего весьма рационально склоняться перед первым; вещественную силу перед духовной – нет, они все ставят идеалом будущего нечто самим себе, т. е. этим авторам подобное – европейского буржуа. Нечто среднее; ни мужика, ни барина, ни воина, ни жреца, ни бретонца или баска, ни тирольца или черкеса, ни маркиза в бархате и перьях, ни траписта во власянице, ни прелата в парче... Нет, они все очень довольны тем мелким и средним культурным типом, к которому по положению своему в обществе и по образу

жизни принадлежат они сами и к которому желали бы для всеобщего блага и для всеобщего незатейливого достоинства свести и снизу, и сверху окончательно весь мир.

Мы видели, что эти люди прежде всего не знают и не понимают законов прекрасного, ибо всегда и везде именно этот средний тип менее эстетичен, менее выразителен, менее интенсивно (т. е. высоко) и экстенсивно (т. е. широко) прекрасен, менее героичен, чем типы более сложные или более односторонне крайние. Объективировать себя самого как честного труженика и буржуа в общий идеал грядущего ни кабинетный ученый, ни вообще образованный человек среднего положения и скромного образа жизни не должен; то не научно именно потому, что оно не художественно. Эстетическое мерило самое верное, ибо оно единственно общее и ко всем обществам, ко всем религиям, ко всем эпохам приложимое. Что полезно всем – мы не знаем и никогда не узнаем. Что у всех прекрасно, изящно или высоко – пора бы обучиться.

Скромнее, достойнее и умнее было бы со стороны Прудона и ему подобных воскликнуть: «Я ученый и честный буржуа, лично я доволен моей участью, моим средним положением и моим средним типом, но я вовсе не хочу для блага человечества, чтобы все были на меня похожи, ибо это не эстетично и не государственно в одно и то же время».

Мы видели, что все эти авторы более или менее не знают или не хотят знать, что высшая эстетика есть в то же самое время и самая высшая социально-политическая практика. Они забывают, что в истории именно те эпохи отличались наибольшей государственной силой и наилучшей социальной статикой, в которые и общественный строй отличался наибольшим разнообразием в наисильнейшем единстве, и характеры человеческие в эти именно эпохи вырабатывались сильнее и разнороднее, или с односторонне выразительным, или с наипышнейшим, многосторонним содержанием. Таковы эпохи Людовика XIV, Карла V, Елизаветы и Георга III в Англии; Екатерины II и Николая I у нас. Стремление к среднему типу есть, с одной стороны, стремление к прозе, с другой – к расстройству общественному. Мы видели, что это стремление, внося вначале в общество нечто действительно новое, давая

даже возможность на короткое время обществу выделять из себя небывалые прежде характеры, невозможные при прежнем более неподвижном и менее смешанном строе, новые и крайне сильные в своей выразительности и влиянии типы людские (Наполеоны, Гарибальди, Бисмарки и т. п.) – слишком скоро изнуряет дотла психические запасы обществ и делает их неспособными к долгому после этих порывов существованию. Всего этого в 40-х и 50-х годах нашего века не могли еще понять самые способные и самые образованные люди, и даже до сих пор едва ли многие ясно сознают, что в этом-то и состоит самый основной, самый главный «вопрос дня» – в смешении или несмешении, быть или не быть? А все остальные вопросы вытекают только из этого основного психомеханического и статико-социального вопроса. Мы видели, что Прудон в этом смысле хуже, так сказать, всех; он, как *enfant terrible* публицистики, да простят мне это слишком русское выражение, «ляпает» прямо то, около чего чуть не на цыпочках обходят, косясь боязливо, умеренные либералы и прежде его писавшие, и в его время, и после него. Итак, не только мои собственные доводы в статье «Византизм и славянство», но и все приведенные мною здесь европейские публицисты, историки и социологи почти с математической точностью доказывают следующее: во-первых, что в социальных организмах романо-германского мира уже открылся с прошлого столетия процесс вторичного смешения, ведущего к однообразию; во-вторых, что однообразие лиц, учреждений, мод, городов и вообще культурных идеалов и форм распространяется все более и более, сводя всех и все к одному весьма простому, среднему, так называемому «буржуазному» типу западного европейца.

И в-третьих, что смешение более противу прежнего однообразных составных частей вместо большей солидарности ведет к разрушению и смерти (государств, культуры).

<...> Когда мы слово будущность прилагаем к государственным организмам и к целым культурным мирам, то нельзя мерить жизнь таких организмов и миров годами, как жизнь организмов животных: эпохи геологические считаются тысячелетиями; жизнь личная наша измеряется

годами; жизнь историческая тоже имеет свое приблизительное мерило – век, полвека...

Цифры исторической хронологии, которые я привел в главах моих «Прогресс и развитие», могут не все быть одинаково доказательны и точны, но я думаю, из них, по крайней мере, ясно то, что больше 1 200 лет не прожил в своем известном истории и определенном виде ни один государственный организм. Почему же Англия, Германия и Франция должны стать исключением? Они уже прожили несколько более 1 000 лет, если считать, как я считал, со времен Карла Великого; а если брать (очень неосновательно) со времени падения Западной Римской империи, то и еще больше... Значит, с этой стороны шансы в пользу разрушения. Какие основания в прошедшем и настоящем имеем мы для противоположных надежд на небывалую долговечность этих западных государств, кроме нашего вечного умственного рабства перед их идеями?..

<...> Русские нашего времени, имея перед собой еще неоконченный Восточный вопрос, имея возможность стать во главе некоего нового политического здания, имеют, так сказать, умственное право мечтать об оригинальной культуре; оригинальные культуры были, и даже вся история, как прекрасно развивает г. Данилевский в своей книге «Россия и Европа», состоит лишь из смены культурных, типов; из них каждый имел свое назначение и оставил по себе особые неизгладимые следы...

Поэтому мечтать и заботиться об оригинальной русской, славянской или нововосточной культуре можно, и позволительно даже искать ее. Позволительно и логично мечтать о государственной силе и славе, ибо это бывало; позволительно и логично желать для действительной жизни больше поэзии, более изящных и красивых форм (например, в одеждах, танцах, постройках и т. д.), ибо это бывало и кое-где (в Азии, например) есть и до сих пор. Позволительно надеяться на глубокие перевороты в области философского мышления, даже на отрицательное отношение к нынешнему утилитаризму, ибо и подобные умственные перевороты, разрушительные для прежней мысли, созидające для нового общества, бывали (например, в то время, когда христианское духовенство разрушало языческие храмы и вообще произведения

эллино-римской культуры; мысль царила другая, не та, что царила у язычников)... Все это возможно.

Но с точки зрения умственной непозволительно мечтать о всеобщей правде на земле, о какой-то всеобщей мистической любви, никому ясно даже и не понятной, нельзя мечтать о равномерном благоденствии. Даже в главном теперешнем вопросе, в вопросе социально-экономическом, можно, руководясь примером прошлого (а кое-где и настоящего), ожидать образования новых весьма принудительных общественных групп, новых горизонтальных юридических расслоений, рабочих, весьма деспотических и внутри вовсе не эгалитарных республик, вроде мирских монастырей; узаконения новых личных, сословных и цеховых привилегий...; ибо все это бывало и все это не противоречит в основании учению о реальных силах, от которого социальной науке уже невозможно отказаться... Можно, не изменяя науке и здравому смыслу, доходить даже до такой мысли, что вся земля будет разделена между подобными общинами и личная поземельная собственность будет когда-нибудь и где-нибудь уничтожена, можно думать об этой возможности и с отвращением, и с пристрастием, но каково бы ни было чувство наше при этой мысли, все равно оно имеет за собой правдоподобие; но не имеют правдоподобия ни психологически, ни исторически, ни социально, ни органически, ни космически – всеобщая равномерная правда, всеобщее равенство, всеобщая любовь, всеобщая справедливость, всеобщее благоденствие. Эти всеобщие блага не имеют даже и нравственного, морального правдоподобия: ибо высшая нравственность познается только в лишениях, в борьбе и опасностях... Лишая человека возможности высокой личной нравственной борьбы, вы лишаете все человечество морали, лишаете его нравственного элемента жизни. Высшая степень общественного благоденствия материального и высшая степень общей политической справедливости была бы высшая степень без-нравственности (я отделяю нарочно частицу без, чтобы мое слово не поняли в обыкновенном смысле разврата и мошенничеств; я предполагаю, что не будет тогда ни разврата, ни добродетелей; первый не будет допущен, а вторая будет не нужна... Так как все равны, и потому все одинаковы).

Итак, на месте стоять нельзя; дальше по пути равенства и равномерной свободы идти – значит искать невозможного. А тот, кто ищет во что бы то ни стало невозможного, тот, конечно, рискует погибнуть. А на Западе все усиливается анархия, – кажется, это нельзя отрицать; все это знают. <...>

§ VIII

«Россия – глава мира возникающего, Франция – представительница мира отходящего», – сказал Н. Я. Данилевский; сказал верно, просто и прекрасно. «Россия глава мира возникающего», «Россия не просто европейское государство; она целый особый мир...» Да, это все так, и только не понимающий истории человек может не согласиться с этим.

Но весь вопрос в том, что несет в тайных недрах своих для вселенной этот, правда еще загадочный и для нас самих и для иноземцев, колосс, которого ноги перестали на Западе считать глиняными именно с тех пор, как они, вследствие эгалитарных реформ по западным образцам, немного ослабели и размякли? Что он несет в своих недрах – этот доселе только эклектический колосс, почти лишенный собственного стиля? Готовит ли он миру действительно своеобразную культуру? Культуру положительную, созидающую, в высшей степени новоединую и новосложную, простирающуюся от Великого океана до Средиземного моря и до западных окраин Азии, до этих ничтожных тогда окраин Азии, которые зовутся теперь так торжественно материком Европы; ибо все тот же Н.Я. Данилевский доказал (неопровержимо по-моему), что, географически говоря, Европы такой особой нет, – а вся эта Европа есть лишь не что иное, как Атлантический берег великого Азиатского материка; великий же смысл слова Европа есть смысл исторический, т. е. место развития или поприще особой, последней по очереди культуры, сменившей древние, предыдущие, – культуры романо-германской. Представим ли мы, загадочные славяно-туранцы, удивленному миру культурное здание, еще небывалое по своей обширности, по роскошной пестроте своей и по сложной гармонии государственных линий, или мы восторжествуем над всеми, только для того, чтобы всех смешать и всех скорей погубить в общей равноправной

свободе и в общем неосуществимом идеале всеобщего благоденствия – это покажет время, уже не так далекое от нас...

Я повторю в заключение, быть может, уже и в сотый раз: благоприятное для нас разрешение Восточного вопроса, или, еще проще и яснее, – завладение проливами (в какой бы то ни было форме) тотчас же повлечет за собой у нас такого рода умственные изменения, которые скоро покажут, куда мы идем – к начатию ли новой эры созидания на несколько веков или к либеральному всеразрушению? Признаки благие, обещающие созидание, есть как будто у нас и теперь еще прежде подобного торжества; но они слабы, неясны, еще нерешительны, и я здесь не буду говорить о них.

Скажу только об одном чрезвычайно важном признаке, как бы роковом и мистическом (совмещающем внутреннюю идею со внешним символом ее). Вот он: мы не присоединили Царьграда в 1878 году; мы даже не вошли в него. И это прекрасно, что нас туда не допустили враги ли наши, наши ли собственные соображения – все равно. Ибо тогда мы вступили бы в Царьград этот (во французском кепи) с общеевропейской эгалитарностью в сердце и уме; а теперь мы вступим в него (именно в той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники); в сердце же и уме с кровавой памятью об ужасном дне 1 марта, когда на улицах нашей европейской столицы либерализм анархический умертвил так безжалостно самого могущественного в мире и поэтому самому самого искреннего представителя либерализма государственного. Среди столицы, построенной Петром, нашим домашним европейским завоевателем, совершилось это преступление...

И свершители его, слепые орудия, быть может, не по их пути ведущей нас судьбы, получили сами достойную мзду... И не есть ли эта великая катастрофа явный признак, что близится конец России собственно петровской и петербургской?!.. Другими словами, что на началах исключительно европейских нам, русским, нельзя уже жить?!..

Неужели и это не ясно и это не поразительно?!.. О, бедные, бедные соотчичи мои – европейцы... Как бы можно было презирать вас, если бы позволяло сердце забыть, что и вы носите русские имена и что и вы, даже и вы, защитники равенства и свободы, исправимы при помощи Божией!..

АННОТАЦИИ К ТЕКСТАМ

Иларион, митрополит Киевский. Слово о законе и благодати¹

Слово «О законе и благодати» было написано между 1037–1050 годами и является одним из самых ранних выдающихся произведений древнерусской литературы. Автор Слова – Иларион, первый высший церковный иерарх из русских, поставленный в Киевского митрополита в 1051 году. Впервые митрополит Иларион произнес «Слово» еще до своего поставления на митрополичью кафедру, на Пасхальной неделе 1049 года, в Киевском соборе Святой Софии в присутствии великого князя Ярослава Мудрого и его ближайшего окружения. Важнейшей темой «Слова» является осмысление значения принятия христианства русским народом, крещение которого произошло в 988 году при великом князе Владимире, и его места во всемирной истории.

В произведении обычно выделяют три основные содержательные части. В первой части Иларион предлагает сравнение значения во всемирной истории двух частей Священного Писания – Ветхого и Нового Заветов, причем духовным смыслом Ветхого Завета он называет следование «Закону», а Нового Завета – явление «Благодати». Он стремится доказать, что следование только «букве» Закона Ветхого Завета не приводит человека к спасению, а лишь воссоздает положение ветхозаветных иудеев. Подзаконное состояние при Ветхом Завете сопровождалось рабством в духовно-нравственном смысле (невозможностью преодоления человеком греха) и ограниченностью следования национальным обычаям, а «благодать» (Новый Завет) – духовной свободой и полнотой духовной жизни человека во Христе. В произведении Илариона христианство Нового Завета сравнительно с национальной ограниченностью Ветхого Завета высвечивается в его вселенском, универсальном характере.

¹ Текст приводится по изданию: Иларион Киевский, свт. Слово о законе и благодати (пер. А. Белицкой) // Грамота.Ру.

Во второй части митрополит Иларион описывает распространение Благодати на Руси через событие Крещения русского народа. Наконец, в третьей части, которая обозначается как «Похвала князю Владимиру», он сосредотачивает внимание на событии собственного Крещения великого князя Владимира и его решении о Крещении Руси.

Способ изложения в «Слове» представляет собой постепенный логический переход от рассмотрения общих богословских и философских вопросов устройства мира и закономерностей всемирной истории к частным их аспектам, от универсального к национальному, к исторической судьбе русского народа и христианской миссии великого князя. Одна из тем «Слова» – тема равноправности народов в истории, противостоящая теориям богоизбранничества только одного народа. Митрополит Иларион подчеркивает, что через явление евангельской Истины и Благодати и посредством Крещения Бог «все народы спас». При этом он прославляет русский народ среди народов всего мира, находя ему неотъемлемое и важное место во всемирной истории. «Слово о законе и благодати» обращено и к будущему Руси, оно как бы предвосхищает это будущее.

Поучение Владимира Мономаха²

Автор «Поучения» (другое название – «Поучение детям») – Киевский князь Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125 г.), выдающийся представитель русских князей домонгольского периода Древней Руси. Прозвание Мономах князь Владимир получил по матери – дочери византийского императора Константина Мономаха. Всю жизнь он провел в борьбе с внешней угрозой в лице кочевников-половцев и с их обычным союзником – князем Олегом Святославичем, организовав несколько походов объединенных сил русских князей. В своей внутренней и внешней политике отстаивал идею единства Русской земли, для чего выступал против междоусобных войн, организовывал съезды русских князей, поддерживал

² Текст приводится по изданию: Сборник произведений литературы Древней Руси) (сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева). М., 1969.

почитание первых русских святых «страстотерпцев» Бориса и Глеба, жизнь которых должна была подать пример послушания младших князей старшим, покровительствовал созданию исторических хроник – летописей, в которых проводилась мысль об историческом единстве Руси и всего княжеского рода («все князья – братья»).

«Поучение» в первоначальной редакции было создано примерно в 1099 году, в окончательной – после 1118 года, когда Владимир Мономах был уже великим князем Киевским. Поводом для написания стала встреча с послами братьев, которые предлагали ему вооруженную борьбу против Ростиславичей. Князь отверг предложение и, обретя душевное спокойствие в чтении Нового Завета и Псалтыри, пришел к идее оставить наставление для потомков. Основное содержание «Поучения» – нравственно-аскетические наставления и заповеди. Князь призывает потомков жить согласно христианскому идеалу братолюбия и духовного единства, возвращать в душе страх Божий и смирение, проявлять милосердие и заботу о нуждающихся, хранить чистоту сердечных помыслов, быть верным крестному целованию (клятве) и стремиться иметь миролюбивое настроение.

Послания старца Филофея³

Автор двух Посланий – писем псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину и великому князю Василию III Ивановичу – монах Филофей (ок. 1465–1542), старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря (село Елизарово Псковского района). Написанные в XVI веке, письма были впервые опубликованы лишь в 1861–1863 годах. Поводом для первого письма послужило отношение к астрологии (Николай Булев, известный публицист, переводчик и врач при великом князе Василии III, приблизительно в 1522 году перевел астрологический «Альманах» Штоффлера, содержащий предсказание о потопе в 1524 г., что вызвало недоумения), которое, в согласии с христианским учением, оказалось отрицательным. Астрологическим

³ Текст приводится по изданию: Библиотека литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. СПб., 2006. Т. 9.

предсказаниям Филофеей противопоставляет библейское понимание истории как реализации Промысла Божия, несогласие же с ним и отпадение от истинной веры является причиной исчезновения государств.

Главная идея Посланий старца Филофея – изложенная в них концепция «Москва – Третий Рим». Согласно одной из трактовок, концепция Филофея дает политическое обоснование преемственности имперской власти от Рима к новому Риму – Константинополю – и далее к Москве. Согласно этой концепции на смену Риму «первому» – Римской империи, на территории которой зародилась и распространялась христианская вера, пришла «ромейская» (Византийская) империя во главе с христианским (православным) императором. Отпадение от чистоты православной веры (вследствие соглашений с католиками) привело к тому, что в 1453 году случилось падение Византийской империи (Константинополя, «второго Рима»). Преемником Константинополя (Византии) становится Москва (Русь) как наиболее безупречное в мире государство – хранитель христианской (православной) веры. Такая трактовка допускает зависимость мысли Филофея от концепции «переноса империи» (*translatio imperii*), которая в средневековой Европе давала обоснование для возведения новых европейских монархий в достоинство юридически правомочных наследников Римской империи. Филофеей излагает свою концепцию на языке богословия, хотя немаловажным моментом оказывается употребление им терминов «царь» и «царство» (великокняжеский титул князя Василия приравнивается во втором Послании к царскому по той причине, что он является единственным законным хранителем православия). Приобретение титула «царь» вместо прежнего «великий князь» стало одной из забот сына и преемника великого князя Василия Ивана IV Грозного.

Однако существует мнение, что трактовка политической преемственности в отношении «третьего Рима» сложилась уже в эпоху Российской империи и нетождественна тому, что хотел сказать Филофей. Другие трактовки не признают за концепцией Филофея сложившегося политического – имперского (тем более – экспансионистского) смысла, подобного смыслу идеи «Вечного Рима», отражающей либо незыблемость власти императоров и политической легитимности и могущества Римской

империи, либо вселенское единство христианского государства по византийской имперской формуле «Один Бог – один император – одна империя», а только подчеркивают наличие в данной концепции идеи об универсальной исторической миссии Руси (России) как хранителя христианской веры и основанной на ней нравственности. И в этом смысле, по словам Филофея, «четвертому Риму не бывать», что придает всей его концепции религиозно-эсхатологический смысл. «...Что замыслил Творец о России» (Н.А. Бердяев) в истории как по своим истокам христианском государстве – главная мысль и монаха Филофея, и его предшественника митрополита Илариона, и многих последующих русских мыслителей. Нельзя отрицать и идеологический смысл концепции «Москва – Третий Рим», сопряженный с осознанием верховной государственной властью своего возрастающего политического статуса и положения Руси-России среди христианских государств.

Послания Ивана Грозного Курбскому⁴

Послания Ивана Грозного – часть переписки царя Ивана IV Грозного (1530–1584) с князем Андреем Михайловичем Курбским. Наряду с письмами первого венчанного на царство царя «всея Руси» существуют послания царю князя (известно два послания Ивана Грозного и три послания Андрея Курбского). Поводом Посланий послужил побег в 1564 году бывшего сподвижника и военачальника царя, входившего в «Избранную раду», князя Андрея Курбского (1528–1583) из Юрьева, где был поставлен первым воеводой в ходе Ливонской войны, в ливонский город Вольмар и поступил на службу к польскому королю Сигизмунду II Августу. Ранее князь Андрей Курбский состоял в переписке с литовскими вельможами. Опасаясь репрессий царя, начавшего репрессии против своих бывших сподвижников (спустя полгода была учреждена опричнина), он этим оправдывал свой побег, выглядевший изменой царю и родине, и, уже находясь за границей, писал Ивану Грозному обличительного характера письма, обвиняя русского царя в неслыханных

⁴ Текст приводится по изданию: Послания Ивана Грозного (пер. Я.С. Лурье). М.; Л., 1951.

гонениях, муках и казнях бояр и воевод, покоривших ему «прегордые царства» и завоевавших «претвердые грады».

Первое письмо Ивана Грозного (1564 г.) было пространным ответом на письмо от изменившего ему боярина и по своему замыслу предназначалось не только князю, но и широкому кругу читателей (в качестве нравственного назидания). Письмо носило грубый обличительный стиль, характерный и для других писем царя, но вместе с тем было написано по правилам дипломатической переписки и свидетельствовало о глубокой богословской образованности и незаурядном государственном мышлении ее автора. Второе письмо (1577 г.), написанное в том же стиле в период русских военных побед в Ливонии, должно было свидетельствовать о Божьем благоволении царю Ивану Грозному. В полемическом противостоянии с князем Андреем Курбским Иван Грозный стремился доказать свою верность православной вере и по-христиански справедливой заботе о державе, а главными противниками нравственности, веры и государственного благополучия называл «изменных бояр».

Феофан Прокопович. Правда воли монаршей⁵

Феофан Прокопович (1681–1736) – один из наиболее видных иерархов Русской православной церкви первой трети XVIII века, сподвижник российского императора Петра I (1689–1725); с 1725 года – архиепископ Новгородский; с 1726 года – первенствующий член Священного Синода.

«Правда воли монаршей» (1722 г.) – политический памфлет, содержащий обоснование указа о престолонаследии 1722 года (с правом монарха самому определять наследника) и представлений о лучших формах политического устройства (сопровожаемые многочисленными примерами из всемирной истории), первенство в которых принадлежит «просвещенному абсолютизму» в виде наследственной российской монархии. Произведение «Правда воли монаршей» было создано с согласия церковных и светских властей,

⁵ Текст приведен по изданию 1726 года: «Правда воли монаршей, во определении наследника державы своей, Уставом Державнейшего Государя нашего Петра Великого...».

в особенности императора Петра I. При этом сам Петр I называл себя «христианским самодержцем» и всегда был убежден в Божественном происхождении своей власти, однако политические образцы лучшего взаимоотношения государственной и церковной властей искал в европейских протестантских странах. Предпосылкой для новой концепции взаимоотношения Церкви и государства (верховной светской власти) стала отмена Петром I патриаршества и создание коллегиального церковного управления – Священного Синода, который оказался подчинен государственной власти. Феофан Прокопович считал российского императора высшим источником не только светской, но и церковной власти («главой Церкви») – данную идею цезарепапизма, а также оправдания реформы Церкви он отстаивал в «Духовном регламенте» (1721 г.) и сочинении «Розыск исторический» (1721 г.).

Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях⁶

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – потомок древнего русского дворянского рода, официальный историограф и политический мыслитель эпохи правления Александра I. Карамзин Н.М. прежде всего известен как автор многотомной «Истории Государства Российского», созданной им в 1803–1825 годах на основе переработки большого количества архивных документов и научной литературы и оказавшей большое влияние на формирование исторического самосознания образованной части российского общества в первой половине XIX века. Политические взгляды Н.М. Карамзина становятся известными уже при воцарении императора Александра I, для которого он пишет «Историческое похвальное слово Екатерине II». В нем он говорит о различных формах правления, отдавая предпочтение просвещенной монархии (образец которой находит в лучшие годы правления Екатерины II) и подвергая критике республиканские формы правления (сложившиеся

⁶ Текст приводится по изданию: Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. // Н.М. Карамзин. Избранные труды. М., 2010.

в некоторых странах Западной Европы). Свойственное последним «многосложное правление», считал Н.М. Карамзин, будет вечным раздором, несчастное орудие которого – простой народ. Время Н.М. Карамзина представляет ему революционное брожение во Франции и угрозу христианской Традиции Европы. Он, безусловно, осуждал Французскую революцию и полагал, что разочарование в ее итогах приведет европейских монархов к мысли об укреплении монархического начала в государстве. На протяжении первой четверти XIX века Н.М. Карамзин фактически становится постоянным историческим и политическим собеседником государя Александра I, но при этом зачастую выступает и нелюбимым критиком его действий, официального правительственного курса и существующих законов.

«Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», переданная Н.М. Карамзиным императору Александру I в 1810 году, представляет собой историософский очерк, в котором одновременно явственно выражены и основное содержание его исторических разысканий, и политические взгляды его автора, его представления о развитии государственной жизни в России. Основная мысль произведения – на власти в России в лице добродетельного монарха лежит ответственная нравственная и религиозная миссия, состоящая в том, что в отечественной и всемирной истории осуществляется Божественное Провидение и борьба света разума с тьмой пороков и заблуждений. Таково же было и настроение императора Александра I, следствием чего было, в особенности, заключение международного Священного Союза, который понимался как преддверие тысячелетнего Царства Божия на земле. Последовавшая в 1812 году Отечественная война сделала общим настроением чувство какого-то осязательного Промысла Божия о России.

Заслугой Н.М. Карамзина было историософское предвестие идеи, отчетливо выраженной позднее русской философией, о том, что *история России есть не то, что мы думаем о ней, а то, что о ней думает Бог*. Актуально звучат и его суждения (подкрепленные ссылками на положительный и отрицательный исторический опыт) о жизненной необходимости для России в ее внутреннем устройстве и внешней политике сильной государственной

власти, соответствующей нравственным основам жизни общества. «Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество; жертвуя честью, справедливостью, вредим последнему», – заявлял Н.М. Карамзин. Рождение в 30-е годы XIX века отечественного философско-исторического самосознания в лице славянофильства (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков и др.) и последующее развитие консервативной политической мысли в России было многим обязано его трудам.

Уваров С.С. О некоторых началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения⁷

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – граф, дипломат и государственный деятель, антиковед, министр народного просвещения (1833–1849), президент Петербургской академии наук (1818–1855). В юности преодолел увлечение европейскими политическими идеями и масонством. Сторонник просвещенного абсолютизма. На протяжении долгого времени являлся главным идеологом в правление императора Николая I. Полагал ведущим, «государственным» средством российского просвещения преподавание истории, инициировал реформы в сфере университетского образования, усиливающие роль богословских наук и подготовку будущих кадров, установил цензурный надзор над литературными изданиями (который позже был ужесточен и значительно ограничил свободу слова), подготовил действовавший до начала XX века устав Академии наук.

Записка С.С. Уварова «О некоторых началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения» была направлена императору Николаю I 19 ноября 1833 года. В ней содержалось обоснование и раскрытие лозунга его управления Министерством и одновременно краткой государственной идеологической формулы: «Православие. Самодержавие. Народность». Данная формула напоминала военный девиз «За Веру, Царя и Отечество» и выступала альтернативой

⁷ Текст приводится по изданию: Река Времен: Книга истории и культуры. М., 1995. Кн. 1.

западным идеям индивидуализма, секуляризма (вытеснения влияния Церкви), вольнодумства, республиканства и т. п., которыми зачастую увлекалось российское дворянство. Уваров С.С. был убежден, что русский народ глубоко религиозен и что различные национальности в России можно объединить на основе верности православной вере и самодержавию.

***Киреевский И.В. Записка об отношении русского народа к царской власти*⁸**

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) – русский религиозный философ, один из основателей славянофильства. Прошел сложный творческий путь, заключавшийся в личном преодолении свойственной образованной части общества сознательной и подсознательной зависимости от идей и настроений западноевропейской мысли, до приобщения к православному духовному опыту (через общение со старцами Оптиной Пустыни и изучение трудов отцов Церкви) и создания на его основе оригинального философского учения об антропологическом и гносеологическом идеале цельности духа. Переломный для него период 30-х годов XIX века совпал с формированием двух противоположных направлений российской общественно-политической мысли – «западничества» (П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен и др.) и «славянофильства» (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин и др.). Противостояние славянофилов и западников началось с «Философических писем» П.Я. Чаадаева; на изложенные в них идеи последовала критическая реакция А.С. Пушкина, а после и статьи славянофилов. После обсуждения в литературных кружках в конце 30-х годов XIX века И.В. Киреевский напечатал свои программные статьи лишь в 1852 и 1856 годах в журналах «Московский сборник» и «Русская Беседа». В то время как для славянофилов определяющим фактором был фактор религиозно-духовный (верность универсальным идеалам и ценностям русского православия, которые определяли особенности русской социальной-политической и культурной жизни), для их идейных противников таким

⁸ Текст приводится по изданию: Иван Васильевич Киреевский. Разум на пути к Истине. М., 2002.

фактором был социально-экономический, а ведущей идеей – следование России по западному пути культурно-цивилизационного развития через заимствование передовых западных идей, а также европейских политических, социальных, экономических форм жизни и лежащих в их основе ценностей. В отличие от западников славянофилы критически оценивали проведенные по европейским лекалам реформы Петра I, которые привели к расколу общества. Противостояние славянофилов и западников, отразившееся в социально-политических реформах эпохи, продолжилось на протяжении всего XIX – начала XX века и остается непреодолимой особенностью русской общественно-политической мысли вплоть до наших дней

В «Записке об отношении русского народа к царской власти», написанной в 1852 году, И.В. Киреевский вынужден был оправдываться от обвинения со стороны тогдашнего министра просвещения А.С. Норова в отделении в его образе мыслей «царя от России». Несмотря на общий патриотический пафос его славянофильской позиции, состоящий в утверждении необходимости самобытного развития России на основе православной русской культуры и ее ценностей, на издание И.В. Киреевским собственных трудов в течение долгого времени был наложен запрет. Киреевский И.В. не отрицал важнейшие элементы российской идеологии того времени, заявленные в формуле «Православие. Самодержавие. Народность» (С.С. Уваров). Однако его позиция состояла в фиксации изменения властью ее акцентов: «Православие. Самодержавие. Народность» становилась в политической практике правительства уже идеологемой «Самодержавие. Православие. Народность». Киреевский И.В. же призывал исходить из идеалов такой целостности индивидуальной, социальной, политической и культурной жизни, которая имеет творческую опору, прежде всего, в духовном опыте русского православия, а «любить царя» означало для него почитать монарха в нерасторжимом союзе с любовью к Церкви, Законности и Отечеству. Именно такая опора позволяла народу обретать духовно-историческую идентичность и преодолевать все исторические потрясения. Основные идеи и мотивы славянофильской парадигмы И.В. Киреевского получили развитие в XIX веке

в творчестве Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, Ф.М. Достоевского и др., в XX веке – у Л.А. Тихомирова, В.Ф. Эрна, А.С. Панарина и др.

Герцен А.И. Русский народ и социализм⁹

Герцен Александр Иванович (1812-1870) – русский писатель и философ, последователь идеологии русского социализма – «революционер-демократ». В 50-60-е годы XIX века издавал еженедельник «Колокол» и альманах «Полярная звезда». В ранний период творчества находился под влиянием анархизма П.-Ж. Прудона и М.А. Бакунина. Критиковал российскую самодержавную монархию и консервативную идеологию славянофильства, но позднее разочаровался и в «закостеневших» и «обветшавших» западных формах социально-политического устройства, противопоставляя буржуазному индивидуалистическому идеалу идеал крестьянской общины и веру в будущее полного жизненной энергии русского народа, способного реализовать антигосударственный (антимонархический) социалистический идеал справедливости, если просветить его, избавив от рабских установок крепостного права. В эмиграции А.И. Герцен поддержал польское восстание 1863–1864 годов.

«Русский народ и социализм» (*Le peuple Russe et le socialisme*) (1851 г.) – одна из программных статей А.И. Герцена, написанная им на французском языке в виде «Письма к И. Мишле». Впервые опубликовано в сокращенном виде на французском языке в парижской газете *L'Avènement du Peuple*, № 63 от 19 ноября 1851 года; единственное прижизненное русское издание появилось в 1858 году. Начиная с 1851 года и до конца своих дней А.И. Герцен не прерывал дружеского общения с Мишлём, которого он высоко ценил за его демократические идеи, антиклерикальный (антицерковный) пафос произведений и сочувствие крестьянскому сословию. Однако А.И. Герцен не отождествлял вместе с французским историком критику политики российского самодержавия и качеств (стремлений) русского народа (правда, в более поздних работах Мишлём уже говорил о русском народе

⁹ Текст приведен по изданию: Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 т. О развитии революционных идей в России. Произведения 1851–1852 гг. М., 1956. Т. 7.

в положительных тонах, «вспомнив» и о русском освободительном движении, называя имена декабристов, П.Я. Чаадаева, М.А. Бакунина). Письмо было адресовано не только Мишлэ, но и более широкому кругу западных писателей и читателей, разделявших по отношению к России первоначальные заблуждения французского историка. А.И. Герцен подчеркивал, что передовая («просвещенная») Россия враждебна царизму, что существует идейное единство революционеров разных стран (в особенности, что русский «сельский коммунизм» имеет точки соприкосновения с «революционной Европой»), а русский народ способен к освободительной борьбе и его ожидает великое будущее. Также А.И. Герцен стремился обосновать проект будущей свободной славянской федерации, отдавая России роль «зерна кристаллизации» всего славянского мира и противопоставляя идею такой федерации «имперскому» панславизму.

Чернышевский Н.Г. Апология сумасшедшего¹⁰

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) – русский литературный критик, философ-материалист, революционер-демократ. Испытал влияние идей философов-материалистов, в особенности Л. Фейербаха, а также русских писателей В.В. Белинского и А.И. Герцена. Разрабатывал теоретические основы утопического социализма. В 1855–1862 годах вместе с Н.А. Некрасовым был фактическим руководителем журнала «Современник». В вопросе об отмене крепостного права выступал за немедленное освобождение крестьян с землей без выкупа (для сохранения общинного владения и дальнейшего перехода к социалистическому хозяйству). Позднее становится одним из основателей движения народничества и вдохновителем революционного общества «Земля и воля». В 1863 году в «Современнике» была напечатана самая известная работа Н.Г. Чернышевского «Что делать?». В это время он находился под арестом в Петропавловской крепости и считался тайной полицией «врагом Российской империи номер один»; в дальнейшем Н.Г. Чернышевский пробыл на каторге и в ссылке более 20 лет, не прекращая своей литературной революционной деятельности. В поздний период творчества придерживался

¹⁰ Текст печатается по изданию: Чернышевский Н. Г. Сочинения в 2 т. Т. 2. М. 1987.

взглядов «левого славянофильства» – построение социалистического общества на основе крестьянской общины, в которой уже существует «товарищеская форма производства», что вызвало интерес у западного идеолога К. Маркса. Влияние взглядов Н.Г. Чернышевского испытал В.И. Ленин.

«Апология сумасшедшего» – написанная в 1860 году статья, предназначавшаяся для публикации в «Современнике», но запрещенная цензурой. Впервые опубликована в 1928 году. Помещая в статье значительные выдержки из первого письма П.Я. Чаадаева, а также почти полностью текст его неоконченной работы «Апология сумасшедшего», Н.Г. Чернышевский ставил перед собой цель не только информировать публику о скандальном эпизоде царствования императора Николая I (после публикации русского перевода с французского оригинала первого «Философического письма» П.Я. Чаадаева в журнале «Телескоп» в 1836 году журнал был запрещен, его редактор сослан, а сам П.Я. Чаадаев официально провозглашен «сумасшедшим»), но также ознакомить читателей с одним из первых документов русского западничества. Результатом этого ознакомления должна была явиться важная для Н.Г. Чернышевского мысль о том, что, несмотря на существенное противостояние во взглядах, западники и славянофилы в равной степени исходили из идеи особой исторической миссии России. Однако этой идее Н.Г. Чернышевский противопоставляет свой взгляд на исторический процесс, согласно которому в истории главной действующей силой являются не отдельные национальные организмы, а «сословия» – «высшее», «среднее» и «простолюдины» (последним еще предстоит в будущем стать ведущим субъектом исторического действия).

Бакунин М.А. Государственность и анархия¹¹

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876 г.) – русский философ, деятель революционного движения в России, один из идеологов анархизма (в форме «анархо-коллективизма»). Виднейшим представителем русского

¹¹ Текст приводится по изданию: Бакунин М.А. Государственность и анархия. Борьба двух партий в Интернациональном обществе рабочих // М.А. Бакунин. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 291–526.

анархизма (в форме «анархо-коммунизма») был также П.А. Кропоткин (1842–1921), оказавшийся в оппозиции к политическим взглядам В.И. Ленина и методам борьбы с инакомыслием советской власти. Идеи П.А. Кропоткина пытался реализовать во время Гражданской войны в виде анархо-крестьянского повстанческого движения на Юго-Востоке Украины Н.И. Махно. Согласно М.А. Бакунину, только путем радикальных революционных преобразований может быть создано общество на свободных и справедливых коллективистских началах. Свобода понималась как отсутствие для человека внешне навязанной воли – Божественной или индивидуальной и коллективной человеческой, и объявлялась «единственным законным творческим принципом всякой организации». Исходя из абсолютной ценности свободы, отрицалась не только как таковая государственная и частная собственность на средства производства, но и любая форма иерархической власти, исходящей либо от воли государя, либо даже от государства с выраженной волей народа («диктатура пролетариата»). Кроме того, социальное и экономическое неравенство любой классовой системы, как и системы национального и гендерного угнетения, несовместимо с принципами индивидуальной свободы. В отличие от идеологов марксизма, М.А. Бакунин полагал, что не только капиталистическое государство, но и государство в любой форме несовместимы с индивидуальной свободой рабочего класса и крестьянства.

«Государственность и анархия» (1873 г.) – фундаментальная работа М.А. Бакунина, составившая первую часть задумываемого им труда. Вторую часть он намеревался посвятить проблемам «всемирного бунта» и организации рабочих масс на принципах анархизма. Сборник «Историческое развитие Интернационала», вышедший в том же 1873 г., и составил фактически вторую часть труда на общую тему «Государственность и анархия». Бакунин М.А. анализирует историю революционного рабочего движения в странах Европы и приходит к выводу, что главным его врагом является государство как таковое, поскольку его сутью, реализуемой через сохранение социального неравенства и бюрократию даже в демократических республиках, является «порабощение народных масс». Государству противостоит «социальная революция», основанная на идеалах свободы, равенства и братства, которая

должна совершиться силой люмпен-пролетариата («нищенской» части пролетариата). По его убеждению, такая революция уже зарождается на юге Европы, и к ней неизбежно присоединятся народы европейского северо-запада, а затем все славянские народы.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа¹²

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – русский философ, социолог и культуролог, один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. К изучению проблем цивилизационного развития человечества Н.Я. Данилевский приступил в 1860-е годы. В своем учении он самостоятельно пришел к схожим со славянофилами (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков и др.) выводам об одностороннем и кризисном характере развития западноевропейской цивилизации и о существенном значении для формирования славянского и русского мира православной веры и основанных на ней ценностях. При этом он был убежден, что именно славянская цивилизация способна сыграть решающую роль в истории и прийти на смену отжившей европейской. Однако, по его мнению, перед Россией остается решающий ее судьбу выбор: либо вместе с другими славянскими народами создать всеславянскую цивилизацию, либо полностью утратить свое культурно-историческое значение. В этих представлениях находила свое выражение идеология панславизма.

«Россия и Европа» (1869) – фундаментальный исторический и социологический труд Н.Я. Данилевского, где он излагает собственную концепцию «культурно-исторических типов», представляющую собой альтернативную европоцентристской модель исторического развития культуры (цивилизации). Позднее, уже в начале XX века, схожую с концепцией Н.Я. Данилевского теорию представит в своем знаковом произведении «Закат Европы» немецкий мыслитель О. Шпенглер. Согласно его учению, не существует одной – общечеловеческой цивилизации, основой которой принято

¹² Текст приводится по изданию: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2011.

считать именно европейскую, задающей некие стандарты развития всем остальным (находящимся на периферии) и (будто бы) находящейся на вершине всемирного исторического развития. Апеллируя к историческим фактам из истории отдельных народов, Н.Я. Данилевский показывает, что в действительности нужно говорить о существовании целого ряда самобытных и самоценных культур, или их типов – египетской, китайской, еврейской, ассиро-вавилонской, греческой, римской, германо-романской, славянской (русской), объединяемых общим «духом», языком, верой, политической независимостью ее народов, даже национальными особенностями развития науки, и другими характерными свойствами. Значение культурно-исторических типов состоит в том, что каждый из них выражает идею (идеал) человека по-своему. Но подавляющее господство одного культурно-исторического типа значило бы деградацию народов. Между тем именно для претендующей на культурную, научную и др. универсальность и первенство европейской цивилизации свойственно такое опасное притязание, которое исторически заложено в агрессивном, «насильственном» ее «духе» (характере), в том числе и по отношению к славянским народам. Всеславянский союз вокруг России призван, по убеждению Н.Я. Данилевского, дать отпор такому притязанию.

***Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие
всемирного разрушения¹³***

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – русский консервативный мыслитель и писатель, дипломат. В своей жизни испытал, подобно И.В. Киреевскому и Ф.М. Достоевскому, религиозно-мировоззренческий перелом, долгое время жил в монастырях на полуострове Афон (Греция, «осколок Византии») и Оптиной Пустыни, закончил свою жизнь иноком. Испытал влияние историософских идей Н.Я. Данилевского. Выступал за сохранение в России сильной монархической власти (самодержавия), сословного деления общества и роли Православной церкви и против

¹³ Текст приведен по изданию: Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. М., 2010.

реализации популярных социально-политических проектов как либерально-буржуазного («мещанского»), так и «коллективно-социалистического» типа, которые, по его мнению, приведут лишь к новым видам закрепощения человека. Полагал необходимым для власти перехватить инициативу у назревающих в Европе и России революционных движений, и критиковал как «либеральные» реформы императора Александра II, так и остановившиеся на полпути «консервативные» контрреформы Александра III. В программном труде «Византизм и славянство» (1875) К.Н. Леонтьев отстаивает идею, что для российской культурной и социально-политической жизни органична ориентация на «византизм» – воспринятые у православной Византийской империи основы развития цивилизации: православная вера, самодержавие, православный нравственный идеал. Византизм сплотил русский народ и дал могущество России, а не «славянство» (общая кровь и сходные языки славянских народов). Он также выступал против панславизма – идеи объединения славянских народов, поскольку многие из них ориентированы на Запад, а не на Россию, но за стратегический союз со странами Востока.

В своей работе «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (1884) К.Н. Леонтьев представил пессимистический прогноз будущего развития человека и общества. Центральное понятие данного произведения – «средний европеец» – масштабный социально-политический феномен западной культуры, являющийся одновременно и моделью будущего ее развития, и свидетельством распространения разрушительных тенденций бытия человека и общества. Согласно К.Н. Леонтьеву, навязываемые всему миру идеалы европейского либерализма и эгалитаризма (бессословности) неизбежно приводят к исчезновению незаурядных творческих личностей, способных влиять на ход истории. Сохранение таких личностей возможно только благодаря влиянию традиционной христианской морали, тогда как западный «просвещенческий» человек ориентирован только на индивидуализм, собственное материальное благополучие и выгоду, веру в разум и научно-технический прогресс. Идеалом человека выступает не рыцарь-воин или святой монах, вообще не героический, не сложный или крайний социальный тип, способный вызвать художественное подражание, а мелкий усредненный тип

«европейского буржуа». Речь идет о господстве среднего класса, с одинаковым воспитанием и образованием, вдохновленном идеями политической свободы (вследствие революционных изменений во Франции) и отрицанием авторитета публичной власти и Церкви. Проницательно обозначив эту угрозу доминирования антропологического типа «среднего человека», К.Н. Леонтьев предвосхитил тем самым идеи Х. Ортеги-и-Гассета о наступающей взамен власти избранных (элит) «власти масс», оторванных от народных традиций и лишенных исторической памяти, о формировании человека, для которого характерна безликость и безосновность существования (понятие «das Man» у М. Хайдеггера и др.), и смежных идей целого ряда зарубежных и отечественных мыслителей XX века. При этом одной из причин появления такого типа человека К.Н. Леонтьев (в отличие от западных мыслителей) считал искажение в западном обществе духовного опыта христианства и его нравственного и социального идеала и как следствие – духовный кризис, отраженный в мировоззренческом господстве атеизма, нигилизма и материализма. Леонтьев К.Н. полагал, что у России два варианта будущего развития: подчиниться Европе в ее либеральном движении и погибнуть вместе с иссяканием морали и патриотизма, или крепить государственную мощь и роль Церкви, ограничивать притязания людей на безграничные права и свободы, и «устоять в своей отдельности».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История отечественной политической мысли свидетельствует об опыте исторического самосознания России, обретенном в контексте различных исторических вызовов благодаря личным усилиям выдающихся русских мыслителей, государственных и общественных деятелей.

Выявляя и анализируя закономерности нашего политического бытия, акцентируя внимание на фундаментальных ценностях и ориентирах общественной жизни, дискутируя о тех или иных политических решениях и инновациях, соотнося собственно политическую сферу с иными сферами жизни общества, заимствуя или критически переосмысливая идеи и опыт зарубежной политической жизни, они приобщают нас к тому идейному пространству, без которого невозможно понимание прошлого, настоящего и будущего России как самобытного государства-цивилизации, имеющего великое историческое предназначение.

В этом идейном творческом пространстве политических мыслителей, придерживающихся различных мировоззренческих позиций и зачастую диаметрально противоположных точек зрения на один и тот же предмет исследования, и по сей день звучат проблемные вопросы, выстраданные российским народом веками, в контексте сменяющихся политических форм его существования.

К ним можно отнести следующие:

– сильная государственная власть, опирающаяся на определенные духовно-нравственные идеалы и социальные формы жизни, *или* опыт широких гражданских (демократических) свобод;

– путь внутренних государственных реформ, *или* радикальных революционных преобразований;

– союз государства с религиозными институтами, прежде всего, с Русской православной церковью, во имя достижения высших нравственных целей бытия личности, общества, государства, *или* государственная идеология секуляризма и атеизма;

– приоритет общественного (государственного) блага над личным, соединенный с идеей социальной справедливости, *или* приоритет индивидуальных прав и свобод личности;

– включенность в орбиту европейской цивилизации и следование западному пути культурно-цивилизационного развития, либо принадлежность Востоку, либо Евразийскому культурному пространству, *или* культурно-цивилизационная самобытность, и др.

Однако существенно важно, что при всем разнообразии и противоречивости взглядов и оценок прошлого и настоящего отечественной и всемирной истории для подавляющего большинства русских мыслителей была характерна вера в великое историческое предназначение России, связанная с убеждением в наличии нерастраченного духовного, творческого потенциала ее народа. Над действительностью же и правотой идей отечественных политических мыслителей выносит суд сама История.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимов Б., Степанов О. Константин Леонтьев. Первый русский антиглобалист и главный философ страны. М., 2025.
2. Багдасарян В.Э. История общественно-политической мысли России. М., 2024.
3. Бакунин М.А. Государственность и анархия. // М.А. Бакунин. Избранные труды. М., 2010.
4. Бакунин М.А. Pro et contra. 2-е изд., испр. СПб., 2015.
5. Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». М., 1999.
6. Бежанидзе Г.В. Рецепция византийского концепта «благой симфонии» в русской богословско-политической мысли XI–XVII веков. М., 2025.
7. Бердяев Н.А., Леонтьев К. Очерк из истории русской религиозной мысли. // К. Леонтьев. Pro et contra. СПб., 1995.
8. Гаврилов И.Б. Сергей Семенович Уваров. Жизнь. Труды. Мировоззрение. // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2019. № 2(4).
9. Гайденок П.И. От «Орды Залесской» к «Третьему Риму» // Новое прошлое // The New Past. 2023. № 3.
10. Герцен А.И. Избранные труды. М., 2010.
11. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2008.
12. Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1859–1889). М., 2019.
13. Замалеев А.Ф. История политических учений России до середины XX века: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2025.
14. Иван IV Грозный. Сочинения. СПб., 2007.
15. Из «Истории о великом князе московском» Андрея Курбского. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г. / под ред. А.Г. Кузьмина. М., 2004.
16. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // Н.М. Карамзин. Избранные труды. М., 2010.

17. Кембаев Ж.М. Федералистские идеи М.А. Бакунина относительно объединения народов Европы и всего мира // Право и политика. 2010. № 11.
18. Киреевский И.В. Полное собрание сочинений: в 4 т. Калуга, 2006.
19. Кропоткин П.А. Речи бунтовщика. М., 2009.
20. Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // К.Н. Леонтьев. Избранное. М., 2010.
21. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // К.Н. Леонтьев. Избранное. М., 2010.
22. Леонтьев К.Н. Владимир Соловьёв против Данилевского // Славянофильство и грядущие судьбы России. М., 2010.
23. Летняков Д.Э. Очерки истории русской политической мысли. М., 2012.
24. Лурье Я.С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979.
25. Муза Д.Е. Константин Николаевич Леонтьев: личностный миф и драма идей в контексте поиска духовного смысла истории. М., 2012.
26. Поучение Владимира Мономаха // Великий князь Владимир Мономах. М., 2006.
27. Прокопович Ф. Правда воли монаршей // Ф. Прокопович. Избранные труды. М., 2010.
28. Пушкарева Г.В. Политология: учебник и практикум для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2025.
29. Рожковский В.Б. Политико-правовые представления Н.М. Карамзина и их влияние на общественно-политическую мысль в России XIX века // Философия права. 2021. № 3.
30. Рожковский В.Б. Российское общество, Церковь и государство в учении И.В. Киреевского // Философия права. 2021. № 4.
31. Рожковский В.Б. «Средний человек» в социально-политической концепции К.Н. Леонтьева // Философия права. 2022. № 3.
32. Русская социально-политическая мысль. XI–XVII вв. Хрестоматия. М., 2011.

33. Свердлов М.Б. История России в трудах Н.М. Карамзина. СПб., 2018.
34. Сеницына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 2020.
35. Смолжовских-Смирнова М. Концепция войны у Феофана Прокоповича и официальная идеология петровской эпохи // Лотмановский сборник: Международный конгресс «Семиотика культуры: культурные механизмы, границы, самоидентификации». М., 2004.
36. Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т.1.
37. Хомяков А.С. Соч. в 2 т. М., 1994.
38. Чаадаев П.Я. Философические письма; Аполлогия сумасшедшего. М. 2009.
39. Чернышевский Н.Г. Аполлогия сумасшедшего. Что делать? // Н.Г. Чернышевский. Избранные труды. М., 2010.
40. Чижевский Д.И. Герцен А.И. // Гегель в России. СПб., 2007.

Учебное издание

Рожковский Виталий Борисович

доктор философских наук, доцент;

Вакула Иван Михайлович

доктор философских наук, профессор.

**ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
(XI–XIX ВВ.)**

Редактор Л.Н. Кожоридзе

Корректор Л.Н. Кожоридзе

Технический редактор *В.В. Зверева*

Компьютерная верстка *И.К. Беницкий*

Подписано в печать 01.06.2026.

Формат 60х84/16. Объем 13,48 Усл. печ. л.

Набор компьютерный.

Гарнитура Times New Roman. Печать лазерная.

Бумага офисная. Тираж 50 экз. Заказ № 112.

Редакционно-издательский отдел

ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.

Отпечатано в ГПиОП РИО

ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83.

ISBN 978-5-8928-8616-1

